

ИВАН ИВАНОВИЧ ЛАЖЕЧНИКОВ

ПОСЛЕДНИЙ НОВИК.
ТОМ 2

Россия державная

Иван Лажечников

Последний Новик. Том 2

«Public Domain»

1831–1833

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Лажечников И. И.

Последний Новик. Том 2 / И. И. Лажечников — «Public Domain»,
1831–1833 — (Россия державная)

ISBN 978-5-486-03590-6

Иван Иванович Лажечников (1792–1869) – русский писатель, драматург, мемуарист; зачинатель жанра исторического романа в русской литературе. Ему удалось не только достоверно передать быт и нравы, традиции и предания, предрассудки и заблуждения исторического прошлого, но и воплотить сам образ и дух эпохи, создать живые и полнокровные характеры многих исторических лиц. Во второй том данного издания вошло окончание исторического романа «Последний Новик», рассказывающего об одном из периодов Северной войны 1701–1703 гг. между Россией и Швецией – о борьбе Петра I за обладание Прибалтикой, необходимой России для выхода к берегам Балтийского моря. Царь Петр выступает как подлинный патриот, мудрый правитель, поборник просвещения, справедливый и простой в обращении с подданными. Действие повествования разворачивается в Лифляндии во время похода русских войск под командованием Шереметева. Герой романа входит в доверие к шведам, но тайно помогает русской армии, что способствует ее победе.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03590-6

© Лажечников И. И., 1831–1833

© Public Domain, 1831–1833

Содержание

Часть третья	7
Глава первая	7
Глава вторая	12
Глава третья	18
Глава четвертая	25
Глава пятая	33
Глава шестая	44
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Иван Иванович Лажечников
Последний Новик
Том 2

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010

© ООО «РИЦ Литература», 2010

* * *

Часть третья

Глава первая Исповедь дружбы

*И страшен день, и ночь страшна,
И тени гробовые;
Он всюду слышит грозный вой;
И в час глубокой ночи
Бежит одра его покой,
И сон забыли очи.*

Жуковский

Мы оставили русских на марше от пепелища розенгофского форпоста к Сагницу. Немой, как мы сказали, служил им вожатым. Горы, по которым они шли, были так высоки, что лошади, с тяжестями взбираясь на них (употреблю простонародное сравнение), вытягивались, как прут, а спалзывая с них, едва не свертывались в клубок. Вековые анценские леса пробудились тысячами отголосков; обитавшие в них зверьки, испуганные необыкновенною тревогой, бежали, сами не зная куда, и попадали прямо в толпы солдат.

Немой, ведя русских, потому что приказано ему было вести их, горевал при мысли, зачем такое множество людей идет на убой себе подобных. Но когда передовой отряд, при котором он находился, ворвался в корчмы, одиноко стоявшие в анценском лесу и служившие шведам отводными караульнями; когда раздались в них вопли умирающих или просивших пощады, он плакал, стонал, бросался в ноги к русским начальникам, обнимал их колена и разными красноречивыми движениями молил о жизни для несчастных или грозил, в противном случае, бежать и оставить войско без проводника. Ему возражали, что его самого убьют за побег, а он — обнажал грудь свою. Таким трогательным и смелым посредничеством спасена жизнь нескольким шведским солдатам, застигнутым ночью в корчмах. Редкие из них успели выпрыгнуть из окон и разбежаться по лесам. Страх придавал легкости ногам их и предупредил русских в Сагнице.

Надо сказать, что эта мыза облакачивается к западу об гору, довольно далеко протягивающуюся, к северо-востоку смотрит на ровные поля, а к полдню обогнута болотом, на коем ржавела еще в недавнее время осадка потопных вод. Ныне, когда человек неутомимо допытывает все стихии на свою службу, он выжал эти воды, отвел им пути, да не выйдут из них, и в первобытном, холодном их ложе добывает огонь для своих очагов и новые источники богатства. Пирамиды и квадраты земляного угля веселят взоры там, где, бывало, самое легкое животное не смело поставить ноги своей. В то время, которое описываю, была устроена по болоту узкая, бревенчатая гать, такая удобная и покойная, что езду по ней можно было сравнить разве с речью заики. По этой-то дороге утром шестнадцатого июля в беспорядке тянулся к Платору отряд шведский, испуганный вестью о приближении нечаянных гостей. Отважиться на бой неравный нельзя было и думать. Начальник отряда решился, в ожидании известий от Шлиппенбаха, перебраться в добром здоровье за Платор, разрушить там переправу, потом разрубить мост на Эмбахе и тем задержать, хотя на несколько часов, ужасную лаву, втекающую с такою быстротой в Лифляндию. Но едва успел он вывести на гать огромный обоз с тяжестями, как показались у сагницкой кирки шапки татарские. Чтобы спасти отряд от поражения, оставалось бросить обоз и тем заградить неприятелю единственную за собою дорогу. Так и сделано.

Русский военачальник, не видя возможности немедленно начать боевой переговоры с неприятелем и желая дать отдых войску, утомленному трудным походом, и приготовить его

к решительному сражению, развернул многочисленные силы свои по пространству поля, как искусный игрок колоду карт по зеленому столу. Между тем выслал значительные отряды, чтобы занять мызу, осмотреть около нее все мыши норки, очистить дорогу через болото и тем установить сообщение с неприятелем.

Крики торжества раздавались при расхищении обоза и мызы. Они отдались в стане, и тогда ничто не могло удержать войска, в нем оставшегося. Как при виде жертвы срываются гончие псы со свор своих, так понеслись на добычу тысячи разнородные и еще худо знакомые с дисциплиною. В несколько минут весь обоз разбит; а там, где стояла богатая мыза, возвышались одни безобразные трубы, как на пожарище, хотя она и не горела. Зато многие, перебывая друг у друга лучшие кусочки, иные из вещи ничтожной, сталкивали и увлекали друг друга с тесной гати в трясину, где усилия вырваться из нее еще более в нее погружали. Добычник и добыча, нападавший и защищавшийся равно погибали. Вид торчащих из болота рук, ног и голов, ужас и безобразие смерти на лицах утопленников, самая жизнь, беснующаяся в иступлении страстей, вопли радости, ругательства борющихся, хохот победы – все соединилось, чтобы составить из этого грабежа адский пир. С трудом могли высшие начальники унять его, тем более что некоторые офицеры сами подали пример беспорядка. Из числа попавшихся в трясину немногие вытащены из нее христианским состраданием товарищей.

День прошел в отдохновении. В стане молились, пировали, пели песни, меняли и продавали добычу. Офицеры разбирали по рукам пленников и пленниц, назначали их в подарок родственникам и друзьям, в России находившимся, или тут же передавали, подобно ходячей монете, однокорытникам, для которых не было ничего заветного.

К вечеру прибыл в стан и Паткуль без носа, разумею, красного, и без горба, разбросанных им по дороге, но, в замену, с планом гуммельсгофских окрестностей и с новыми средствами для мщения. С ним прибыло лицо новое для русских – верный слугитель Фриц, а вслед за тем прикатила на своей тележке маркитантша Ильза. Она отлучалась на целые сутки из войска Шереметева для развоза вестей, которые нужно было Паткулю распустить по Лифляндии. Многих в это время заставила она горевать по себе.

Нынешний день она не в обыкновенном своем духе; она грустна и не может скрыть своей грусти. Ее не утешают подарки, отделенные для нее из военных трофеев. Ринген и месть одни в сердце ее. Она льет вино через край мерки, забывает брать деньги, ей следующие, или требует уж заплаченных, отвечает несвязно на вопросы, часто вздрагивает, говорит сама с собою вслух непонятные речи и без причины хохочет. Только Мурзенке старается она особенно угодить: ухаживает за ним, как нежная дочь; готова отдать ему даром все, что имеет на своей походной тележке, – и немудрено: Мурзенко, наверно, будет первый в Рингене.

Ночь на семнадцатое – последняя для многих в русском и шведском войсках. Как тяжелый свинец, пали на грудь иных смутные видения; другие спали крепко и сладко за несколько часов до борьбы с вечным сном. Ум, страсти, честь, страх царского гнева, надежда на милости государевы и, по временам, любовь к отечеству работали в душе вождей.

Было гораздо за полночь. Петухи, уцелевшие на развалинах Сагница, уже в третий раз перекликались с ночными стражами в стане русском. В шатре полковника Семена Ивановича Кропотова светился огонек. Грустный, измученный душевными страданиями и бессонницею, он сидел, согнувшись, на соломенном ложе. Черный пышный парик был снят с головы, и на обнаженной голове ветер, врывавшийся по временам в палатку, шевелил два серебряные локона, как иссохшие былия на могильном черепе. Перед ним на коленях лежала доска с листом бумаги (недавним указом запрещено было употреблять столпцы): это было духовное завещание. На краю его дописывал он последние строки. Крупные капли слез падали из помутившихся глаз его. Нередко прерываемый в своем занятии ветерком, силившимся потушить огарок, освещавший его труд, он охранял дрожащею рукою огонек. Кончив свой труд, долго, очень долго смотрел он с какою-то заботливостью на Полуктова, спавшего крепким сном в

одной с ним палатке. Вдруг последний, вздрогнув, приподнялся с ложа своего, осмотрелся кругом и спросил товарища, он ли его спрашивал и что ему надобно.

– Сердце мое спрашивало тебя, – отвечал Кропотов, творя крестное знамение, – но голоса я не давал.

– Странно! – сказал Полуектов, тоже крестясь. – Меня кто-то во сне толкнул под бок тихонько, в другой раз шибче, в третий еще сильнее, у самого сердца, и проговорил довольно внятно: «Встань... друга режут шведы... поспеши к нему на помощь. Слышишь? Он зовет тебя». Но какой ты бледный, Семен Иванович! Опять-таки всю ночь не спал и опять что-то писал?

– Наверно, голос, тебя звавший, был голос моего ангела-хранителя. Да, сон твой не лжив; режут меня, только не шведы – собственные мои грехи. Помоги. Время для меня дорого. Скоро забелеет утро, может статься, последнее в жизни моей... и нашей беседе могут помешать.

– Что затеял ты нового, безрассудный? Мученик своих черных дум, ты везде видишь смерть или беды. Чего доброго! накличешь их.

– И та и другие идут без зова, Никита Иванович! Дни наши в руке Божией: ни одной иоты не прибавим к ним, когда они сочтены. Верь, и моему земному житию предел близок: сердце вещун, не обманщик. Лучше умереть, чем замирать всечасно. Вчера я исповедался отцу духовному и сподобился причаститься святых тайн; ныне, если благословит Господь, исполню еще этот долг христианский. Теперь хочу открыть тебе душу свою. Ты меня давно знаешь, друг, но знаешь ли, какой тяжкий грех лежит на ней?

Полуектов молчал.

– Нет, никакими страданиями, никакими молитвами не искуплю своего преступления! Как тяжелый камень, лежит оно на сердце моем, давит мне грудь, не дает на миг вздохнуть свободно.

– Искупитель простил и разбойника, а ты...

– Хуже его! Ведай, я погубил свое родное детище.

– Не может статься, Семен Иванович! Ты не в уме своем; ты клепнешь на себя напраслину.

– Нет, друг, воистину говорю тебе, как духовнику своему: я погубил свое детище, и за это наказал меня Бог. Из многочисленного семейства не осталось у меня никого на утешение в старости и по смерти на помин души.

Он вынул письмо из кожаной сумочки, висевшей у него на груди вместе с крестом, дрожащими руками подал письмо Полуектову и произнес могильным голосом:

– Этот подарок пришел ко мне третьего дня вечером от старушки жены из Москвы; прочти и суди, мог ли я вчера утром быть половинщиком в вашем веселии?

Полуектов читал послание с каким-то внутренним судорожным чувством; видно было, что он снел грусть свою.

– Последнего! – произнес Кропотов голосом отчаянной скорби. – Хоть бы одного Господь оставил – не мне – престарелой матери опорой и кормильцем. Но... прости мне, боже мой! мне ль роптать на тебя, неизреченное милосердие? Ты наказываешь меня.

– Последнего! – повторил Полуектов, качая головой; слезы заструились по щекам его. – И мой пригожий, разумный крестничек. Сеня!.. А мы ждали уже его на смену отцу!

– Он служит теперь Царю Небесному.

– Велико твое испытание, Господи! Наслал Ты тяжкие раны на сердце моего доброго Кропотова.

– Ведомо тебе, что двух еще прежде взял он сам. Тот, кому владыки земные противиться не могут. Но ты не знаешь: у меня был четвертый – и того я сам погубил. Я... продал его! Ты смотришь на меня с удивлением и ужасом, ты не веришь, чтобы христианин мог продавать свое родное детище? Но это было так!.. Перед тобой торгаш своими кровными – этот ваш

вчерашний верный слуга царский, добрый, нежный отец, православный христианин! Ты все глядишь на меня и сомневаешься, как могла земля до сего времени носить такое чудовище? Да, меня носила она, как мать мертвого, гнилого младенца во чреве, пока ей не пришло время разрешиться от мерзостного бремени. За сколько, думаешь, продал я его?... Нет, не скажу, не смею сказать; ты на бумаге (он указал на лист) лучше все увидишь. О! эти таланты пришли мне дорого, как Иуде-предателю!¹ А ведаешь ли, кому я продал свое детище? – Коварной Софии Алексеевне! От нее перешел он к отступнику православной веры князю Мышитскому, а от него прямо – к палачу. Как они все пестовали его, как лелеяли!

– Успокойся, друг! Ты с горя мешаешься в уме.

– Нет, я в полном уме, я говорю тебе правду. Знавал ли ты последнего Новика?

– Мало, но знавал.

– Кто он такой был?

Полуектов молчал.

– А! этого и ты не знаешь? Последний Новик, воспитанный царевною Софиею, умерший на плахе, – сын мой.

– Я это слышал, но не верил...

– Знаю, не ты один слышал и не верил! Такого чудовища на Руси, как я, не было и не будет. Диво ли, что веру не имели к этим слухам? Так знай же: последний Новик был сын, законный сын русского боярина, Семена, Иванова по отце, Кропотова.

Вдруг мутные глаза Кропотова неподвижно уставились против входа в палатку.

– Видишь, – вскрикнул он, – голова моего несчастного сына и теперь висит на перекладине; видишь, как с нее каплет кровь преступника!..

Трясаясь, закрыл он глаза руками и упал на солому.

*Ординанц*² вошел в это время в палатку и доложил Полуектову, что его требует к себе фельдмаршал. Получив ответ, он вышел.

– Горе помutilо твой разум, – сказал Полуектов, поднимая своего товарища, – голова *ординанца* показалась тебе бог знает чем. Успокойся; отчаяние величайший из грехов. Кто ведает? может статься, обман... тайна...

– Обман! тайна!.. Какая тут тайна? Не воры же ночью их унесли. Господь, сам Господь двух положил перед глазами матери их: мать не могла же ошибиться в своих детищах. Обман!.. Ге! что ты мне говоришь, Никита Иванович? Она сама обмывала их тела, укладывала в гробы, опускала в землю. Правда, четвертый был тайна для многих; но и того обезглавленный труп мать узнала и сама похоронила.

– Успокойся... хоть ради Христа-спасителя, пострадавшего за наши грехи.

Полуектов оделся.

– Я совсем одет и иду, – сказал он, – фельдмаршал требует меня к себе. Может статься, пошлют меня в передовые. Ты просил меня о чем-то?

При этих словах Кропотов очнулся; он посмотрел на друга с сожалением, будто хотел сказать: зачем шлют тебя? Потом взял бумагу, которую писал, сложил ее бережно, прекрестился и, отдавая ее Полуектову, примолвил:

– Возьми это духовное завещание и, если меня не станет, будь хоть ты моей старушке кормильцем и сыном, будь поминщик по душам нашим.

Полуектов взял бумагу, спрятал ее осторожно в боковой карман мундира, помолился перед медною иконою, висевшею в углу палатки, прижал друга к сердцу, еще крепко прижал его, и – оба заплакали. Семен Иванович надел епанчу и проводил друга за шатер.

¹ Имеется в виду библейская легенда, рассказывающая о том, как Иуда Искарот, продав своего учителя Иисуса Христа за тридцать сребренников (талант – самая крупная денежная единица, имевшая хождение на Древнем Востоке), повесился от угрызений совести.

² Ординанц – ординарец, вестовой.

Заря уже разыгрывалась по небосклону.

– Посмотри, – сказал Полуктов, – как хорош божий мир!

– Хорош таков, каким Господь его создал, а не таков, каким сделали его грехи наши, – отвечал Кропотков, вздыхая.

Друзья обнялись еще раз и молча простились.

Полуктов отправился к фельдмаршалу и не возвращался более в шатер свой. Действительно был он назначен в авангард. Семен Иванович с каким-то предчувствием проводил его глазами по дороге в Платор и послал за своим духовником.

Через полчаса по всей армии затрубили побудок; барабанный бой перекатился по всем линиям – и пятидесятитысячное русское войско, помолясь Отцу Всеобщему и вкусив насущного хлеба, тронулось и загремело по гати. Знамена развеялись, гобои, трубы, литавры и фаготы зазвучали, и песни, без которых русский нейдет на веселье и на горе, на торжество и на смерть, раздались по полкам.

Глава вторая

Битва под Гуммельсгофом

Кому-то пасть?..
Пушкин

Как прекрасно встало солнце семнадцатого июля! Будто после сна расправился этот небесный великан: первый луч его, как блестящий клинок меча, устлался по ровной, широкой ложине, простирающейся на несколько верст от Эмбаха до Гуммельсгофа, и осветил поставленные уступами шведские полки. Едва считается в них до четырнадцати тысяч. Переправу у Эмбаха охраняет небольшой отряд. Все они с душою бесстрашною готовы встретить неприятеля, в несколько раз сильнее числом. Дух их окрыляют имя воинов Карла, везде победителя, народная и личная честь, чувство преимущества выгодной позиции и воинского искусства, мщение за смерть братьев, зарезанных на розенгофском форпосте, и вид родных жилищ, откуда дети, отцы, жены просят не выдавать их мечу или плену татарскому.

Лощина к Гуммельсгофу кажется высохнувшим руслом широкой реки: по обеим ее сторонам, в прямом направлении от Эмбаха, тянутся возвышения, как берега. Правое возвышение круто, ошетинилось мрачным лесом и оканчивается холмами, на которых ель редко и нехотя растет; левое – отлого, усеяно небольшими, приятными рощами, оканчивается бором и примыкает к горе, довольно высокой и, как ладонь, обнаженной. На ней стоит полуразрушенная мельница. Природа и искусство сильно укрепили ее: орудия обглядывают с нее ложину и выжидают оттуда своих жертв. О нее должны опираться все силы шведские: это палладиум их чести и благоденствия. Потеря ее – есть потеря всего войска, гибель целой Лифляндии.

К подошве горы прислонилась мыза Гуммельсгоф. Все на ней спокойно: экономка выдает по-прежнему корм для кур; чухонец³ в углу двора беспечно долбит горбушку хлеба, начиненную маслом; по-прежнему дымок, вестник человеческих забот о жизни, вьется из труб. Ни одного солдата не видно на мызе.

Глубокая, тяжелая тишина царствует в рядах, как будто сам Бог налег на них Своим таинственным всемогуществом. Войско в томительном ожидании первого выстрела; и вот... он раздался за Эмбахом! Офицеры и рядовые невольно содрогнулись и сняли шляпы. В это время подъехал к ним Шлиппенбах. Он, кажется, переродился и вырос: в нем нельзя узнать маленького, крикливого хлопотуна и полухитреца баронессина праздника. Дух геройства говорит в его глазах, в речи и каждом движении.

– Дети! – восклицает он, обращаясь к войску. – Ваши товарищи начали победу; мы dokonчим ее. С кем имеем ныне дело? С татарами, калмыками и, пожалуй, с москвитями, которые мало чем помышленнее их. Много их, говорят; эка беда! тем больше выроем яму для них в память будущим векам, чтобы незваные гости не совались в Лифляндию. Вспомните, как мы оципали эту сволочь под Нарвою: тогда еще не было нам где развернуться, а теперь лихое раздолье штыку и палашу. Не забывать: по ложине каре и каре – стоять плотно, дружно, как эфес при клинке, как голова при теле. В рощах засели наши стрелки: по затылку выскочек пощелкают орешки. Драгуны-молодцы! хе-хе-хе! прошу вас, битого мяса из московитских быков!.. Знайте, на вас смотрит его величество Карл в слуховое окошко из Варшавы и просит вас потешить его геройское сердце. Да здравствует король!

Все отвечают генерал-вахтмейстеру радостным криком:

– Да здравствует король!

³ Чухонец – пренебрежительное название эстонцев в царской России.

– Не худо бы, – сказал один полковник, – поставить отряд на пекгофской дороге для наблюдения за нею.

– Пустяки! Московиты ломают всегда прямо и не умеют пользоваться извилинами: я знаю их хорошо! – вскричал Шлиппенбах и, видя, что другой полковник хотел что-то представить ему, махнул с нетерпением рукой и поскакал вперед.

В свите генерал-вахтмейстера находится Вольдемар из Выборга. Нынешний день он в шведском мундире, на коне и с оружием. Генерал, шутя, называет его своим *лейбшицом*⁴. Вольдемар усмехается на это приветствие, и в черных глазах его горит дикий пламень, как у волка на добычу в темную ночь.

Калмыки, башкирцы и казаки первые прискакали с ужасным криком на правый берег Эмбаха, обсеяли его и первые закусили смертную закуску, посланную им с левого берега. Толпы валяются, как муравьи, облитые кипятком. Несмотря на эту встречу, азиатские наездники бросаются с конями в реку, десятками гибнут в ней, румяня ее воды, и сотнями переплывают ее в разных местах. Здесь шведские стрелки встречают их и ссаживают метким свинцом и удалым штыком. Но бой, каков ни есть, уже завязался на левом берегу, и этого довольно, чтобы русским укрепиться на правом. Пушки их на нем расставлены; драгуны спешили и посылают шведам свои посылки на разрешение; знамена веют по воздуху; литавришник в своей колясочке бьет переправу; плотники с топорами и кирками стоят на зубьях разрушенного моста; работа кипит под тучею пуль и картечи; перекладыны утверждены; драгуны перебираются по этому смертному переходу, и – *пасс* Эмбаха завоеван. Честь этого подвига принадлежит Мурзенке и Полуектову. Несколько сотен казаков гарцуют уже позади шведского полка, оставленного на защиту пасса. Шведы, не в состоянии будучи противиться силам неприятеля, беспрестанно возрастающим, как головы гидры, и сделав уже свое дело, образуют каре и среди неприятеля, со всех сторон их окружающего, отступают медленно, как бы на ученье. Это движущаяся твердыня: усилия тысячей конных татар не могут поколебать ее. Полуектов остается на левом берегу, пока не наведен мост и не переправлены через него регулярная конница, артиллерия и тяжести его отряда. Но толпы башкирские, татарские и казацкие, ободренные отступлением неприятеля, преследуют его, вьются и жужжат около него своими стрелами и пулями, как рой оводов. Уже Гуммельсгоф в виду. Баталион останавливается, укрепляется на одном месте и на смертном расстоянии обдает огнем нестройные толпы. Вместе с этим выстрелом текут с обоих возвышений эскадроны шведские и опутывают их со всех сторон. Куда ни обернутся всадники азиатские, везде грозит им гибель. Одно мужество казаков поддерживает еще сечу; но искусство шведов одолевает. Поражение ужасно. Все, что может избегнуть огня и меча шведского, спасается бегством. Полуектов со своим полком и несколькими орудиями спешит на помощь; за ним вслед и Кропотов; им навстречу толпы бегущих; свои сшиблись со своими, смяли их и внесли между них на плечах ужас и торжествующего неприятеля. Все связи между русскими разрушены; голоса начальников не слушаются, начальники сражаются, как рядовые; пушкарки бросают свои пушки; знамена отданы, и там, где еще веют по воздуху два из них, защищают их лично со своими лейбшицами Кропотов и Полуектов. Ни один из них не бежит от верной смерти. Первый, кажется, ищет ее. Наконец, весь израненный, он обхватывает древко знамени и вместе с ним падает на землю, произнося имя друга, Новика и Бога. Шведы дают знак Полуектову, чтобы он сдался в плен.

– Не отдамся живой; не расстанусь с тобою, Семен Иванович! – восклицает он, отправляя на тот свет нескольких переговорщиков о плене. Утомленный, истекая кровью, он спорит еще с двумя палашами и наконец, разрубленный ими, отдает жизнь Богу.

Фельдмаршал устраивал тогда переправу в трех местах и, по вызову Паткуля, отряжал его в обход через мрачные леса Пекгофа (где через столетие должен был покоиться прах одного из

⁴ Лейбшиц – телохранитель, сберегательный стрелок или денщик. – См. Воинский Устав.

великих соотечественников его и полководцев России⁵). Узнав о поражении своих, Шереметев посылает им в помощь конные полки фон Вердена и Боура. Они силятся несколько времени посчитаться с неприятелем; но, видя, что мена невыгодна для них, со стыдом *ретируются*.

– Тут надобно бы горячего князя Вадбольского, – говорит фон Верден своему товарищу, завернувшись в епанчу и наостривая лыжи. Вадбольский легок на помине, где спрашивают его долг и честь. Он летит с полком навстречу торжествующему неприятелю. Мундир и камзол его нараспашку; по мохнатой груди его мотается серебряный крест. Он пышет от досады; слезы готовы брызнуть из глаз.

– Стой! – кричит он львиным голосом, поравнявшись с отступающими полками. – Кто носит крест, стой, говорю вам! или я велю душить вас, как басурманов.

Полки фон Вердена и Боура, без команды своих начальников, останавливаются и оборачивают коней.

– С крестом и молитвою за мною, друзья! – прибавляет Вадбольский.

Все творят крестное знамение и, как будто оживленные благодатию, несутся за вождем, которому никто не имеет силы противиться. Вера сильна в душах простых. Неприятель сдержан, и вскоре бой восстановлен. Вадбольский творит чудеса и, как богатыри наших сказок, *«где махнет рукой, там вырубают улицу, где повернется с лошадыю, там площадь»*. Конница неприятельская опозорена им; но то, что он выигрывает над нею, похищает у него славная пехота шведская. И ему не устоять, если не приспееет помощь!..

Три часа уже шведы победители.

В это самое время пронесся голос в рядах их:

– Назад! назад! главная армия московитская идет в обход от Пегкофа.

Какое-то привидение, высокое, страшное, окровавленное до ног, с распущенными по плечам черными космами, на которых запеклась кровь, пронеслось тогда ж по рядам на вороной лошади и вдруг исчезло. Ужасное видение! Слова его передаются от одного другому, вспоминают, что говорил полковник генерал-вахтмейстеру об охране пекгофской дороги, – и страх, будто с неба насланный, растя, ходит по полкам. Конница шведская колеблется.

– Назад! – раздаются в ней сотни голосов.

– Вперед, братцы! – кричит Вадбольский. – За нас Господь с Его небесными силами.

Дюмон, очутившись подле него, меняется с ним дружеским взглядом. Удары палаша русского учащены. Конница шведская показывает тыл и обращена в совершенное бегство. Тщетно стараются оба Траутфеттера⁶ ободрить их: слова не действуют. Нескольким солдатам, оставшимся около них и сохранившим еще присутствие духа, приказывают они стрелять по бегущим: ничто не может остановить бегства. Окровавленное привидение будто все еще гонит криком: «Назад!» Сами офицеры собственными лошадьми увлечены за общим постыдным стремлением. Между тем завязался бой у пехоты шведской с тремя русскими пехотными полками, приспевшими на место сражения. Ими предводительствуют Лима, Айгустов и фон Шведен. Лима указывает солдатам на Кропотова и Полуктова, истоптанных лошадиными копытами.

– Врагам не ругаться долее телами наших полковников! – кричит пехота русская и творит чудеса храбрости. Пехота шведская берет над ней верх искусством. Лима убит; Айгустов тяжело ранен. Но сила русская растет и растет, как морские воды, в прилив идущие. Действиями ее управляет уже сам фельдмаршал.

Вадбольский близко гуммельсгофской горы. Преследование неприятеля поручает он Дюмону; сам с остатками своего полка спешивается. Жерла двадцати пушек уставлены на его отряд и сыплют на него смерть. Вадбольский невредим.

⁵ Баркляя де Толли.

⁶ По истории, это сделал храбрый лейтенант Цеге.

– Дети! – восклицает он своим. – Видите знамена на этой содомской горе? Они наши родные; на них лики святых заступников наших у престола Божия; им молились наши старики, дети, жены, отпуская нас в поход. Попустим ли псам ругаться над ними? Умрем под святыми хоругвями или вырвем их из поганных рук, вынесем на святую Русь и поставим вместо свечи во храме Божиим.

Солдаты отвечают ему:

– Не владеть басурманам нашими угодниками. Укажи нам только, батюшка князь Василий Алексеевич, куда идти.

– За мной, дети, со крестом и молитвою! – кричит Вадбольский и вносит остатки своего полка на середину горы.

На ней, у разрушенной мельницы, стоит Шлиппенбах, мрачный и грустный; он сам управляет артиллериею: этою последнею нитью, на которой еще держится судьба сражения. В защиту горы осталась рота, не бывшая в деле; вся масса шведского войска в бою или в бегстве. Близ него Вольдемар. Перемена успехов сражающихся отливается на лице последнего: то губы его мертвеют, холодный пот выступает на лбу его и он, кажется, коченеет, то щеки его пышут огнем, радость блестит в глазах и жизнь говорит в каждом члене. Град пуль и картечи и вслед за тем холодное оружие встречают Вадбольского, ряды его редуют; он невредим. Голос его все еще раздаётся, как труба звончатая.

– Я поклялся Кропотову похоронить его здесь. Здесь, на этом месте, будет его могила и моя, если меня убьют. Так ли, друзья?

– Пускай всех нас положат с тобою, батюшка! а что наше, того не отдадим живые, – кричат солдаты.

В жару схватки рукопашной он один отшатнулся от своих; лейбшицы его убиты или переранены. Трое шведов, один за другим, нападают на него. Могучим ударом валит он одного, как сноп, другому зарубает вечную память на челе; но от третьего едва ли может оборониться. Пот падает с лица его градом; мохнатая грудь орошена им так, что тяжелый крест липнет к ней.

– Дети! – восклицает он с усилием. – Кто любит свою родную землю, тот подаст мне святое знамя, хоть умереть при нем.

Слова его долетают до Вольдемара; он оглядывается на знамена русские, дрожит от испуга; с жадностью выхватывает из ножен свой палаш и смотрит на него, как бы хочет увериться, что он в его руках. Глаза его накалились кровью. Шлиппенбах, пораженный дикими, испуганными взорами, отодвигается назад; но Вольдемару не до него. Он спрыгивает с лошади, бросает ее, исторгает из земли первое русское знамя, не охраняемое никем (даже шведские артиллеристы с банниками принимают участие в рукопашном бое), и в несколько мгновений ока переносится близ сражающихся. В то самое время Вадбольский падает от изнеможения сил. Могучая рука шведа уже на него занесена. Рука Вольдемара предупредила ее: швед падает мертвый. Русское знамя водружено в землю и развевается над князем Василием Алексеевичем.

– Друзья, братья мои! – восклицает Вольдемар. – Со мною! Еще один удар, и все *наше*!

В голосе его, во взоре, в движениях нельзя ошибиться: во всем отзывается его родина.

– Он русский! он наш! – говорит Вадбольский ослабевшим голосом, силясь приподняться с земли; смотрит на знамя со слезами радости, становится на колена и молится. В этот самый миг прибегает несколько русских солдат. Еще не успел Вадбольский их остеречь, как один из них, видя шведа с русским знаменем и не видя ничего более, наотмах ударяет Вольдемара прикладом в затылок. Вольдемар падает; солдат хочет довершить штыком. Вадбольский заслоняет собою своего спасителя.

– Дети мои! Наш он, наш, говорю вам! Что вы сделали! – кричит князь и, заметив, что в несчастном остались признаки жизни, ищет, чем возбудить ее.

Миг этот – миг решительной победы русского войска. На гору входит Карпов с преображенцами; бегут последние защитники ее; по лощине бегут главные силы шведские, поражаемые Шереметевым. С холмов противного возвышения, со стороны Пекгофа, Паткуль встречает их, сечет, загоняет в леса, втаптывает в болота и преследует до самого Гельмета. Шлиппенбах, видя уничтожение своего корпуса, поверяет свое личное спасение лошади своей и первой попавшейся ему тропинке. Распоряжать уже нечем: пушки, знамена, обозы – все покинуто в добычу его. Крики торжества русских раздаются на высоте у разрушенной мельницы и в долине.

Грустный Вадбольский стоял над бесчувственным Вольдемаром, в кругу офицеров и солдат; с нежностью отца старался он оказать ему возможную помощь, развязал галстух, расстегнул его камзол. При этом движении открылась у Вольдемара грудь, и литый из червонного золота складень⁷ ярко блеснул пред глазами изумленных зрителей. На главной доске складня изображены были великомученица София с дочерьми своими, а на другой стороне святой благоверный князь Владимир. Вадбольский спешил задернуть ворот рубашки, застегнуть камзол на таинственном незнакомце и тем закрыть богатый залог любви и веры от любопытных глаз толпы. Вольдемар наконец пришел в себя. Ударом приклада отшибена у него была память. Когда он оправился и стал различать предметы, немало встревожился, увидев себя в кругу русских! Каким образом попался к ним, не мог себе растолковать. Наконец мало-помалу начал припоминать себе происшествия настоящего дня. Привстав с земли, робко осязал он руку то у того, то у другого из окружавших его и, потупив взоры в землю, дрожал, как преступник, пойманный на месте преступления. Его ободряли, ласкали, спрашивали с нежным участием, кто он такой, откуда родом, зачем в войске шведском. От этих вопросов, от приветов и ласки простых сердец хотел бы он бежать, хотел бы уйти в землю...

– Братцы! я русский... – едва мог он произнести, скидая с себя шведский мундир и бросая его под ноги. – Ради бога не спрашивайте меня более.

Вадбольский спешит его обнять.

– Ты спас меня от смерти: чем тебя возблагодарить? – говорит он ему.

– Вспомнить об этом при случае, – отвечает Вольдемар.

Его хотят вести в торжестве к фельдмаршалу. Он отговаривается, просит именем Господа отпустить его и наконец объявляет им, что не может явиться к Шереметеву – он злодей!

– Это мой братец, ребятушки! – закричал кто-то в толпе, и вдруг перед изумленными русскими воинами явилась высокая женщина, окровавленная, с распущенными на плечах черными волосами.

– С нами крестная сила! – переговаривались солдаты, крестясь.

– Не бойтесь! это сестра Ильза, – прибавляли другие. – Да тебя узнать нельзя!

– Моя также ныне дралась за русской. Не забудь Ильзы, когда ее не будет, – сказала она печально.

– Мы помолимся за тебя, добрая сестрица! – раздалось несколько голосов дружно и с чувством.

– Молиться! да, много молиться! – присовокупила она со вздохом, качая головой; но вдруг, взглянув на Вольдемара, грозно вскричала: – Отдай мне братца! – и, не дожидаясь ответа, раздвинула толпу – и увлекла его за собою в ближайшую рошу.

Долго, задумавшись, следовал за ними Вадбольский глазами; припоминал себе таинственного провожатого к Розенгофу, таинственного певца, спасителя Лимы и русского войска под Эррастрфером; соображал все это в уме своем, хотел думать, что это один и тот же человек и что этот необыкновенный человек, хотя злодей, как называл себя, достоин лучшего сотоварищества, нежели Ильзино.

⁷ Складень – название некоторых складных предметов: образок-складень, нож-складень и т. п.

– Злодей? злодей? – твердил про себя добрый Вадбольский. – А не любить его не могу. Кабы он был в такой передрыге, как я ныне, ей-ей, вырвал бы его из беды, хотя бы мне стоило жизни.

Солдаты переговаривали также промеж себя:

– Хорошо, братцы, что мы его скоро отпустили. Пожалуй, разом налетел бы какой мастер: цап-царап под военный артикул да и к ручке Томилы. Не посмотрят, что отнял русское знамя у шведа и спас нашего князя. Ау, братцы!

Ударили сбор; полки построились в ложине у самой мызы. «Фельдмаршал, проезжая их, изъявлял офицерам и рядовым благодарность за их усердие и храбрость, обнадеживал всех милостию и наградою царского величества; тела же храбрых полковников, убитых в сражении: Никиты Ивановича Полуектова, Семена Ивановича Кропотова и Юрья Степановича Лимы, также офицеров и рядовых, велел в присутствии своем предать с достойною честью погребению»⁸.

В боковом кармане мундира у Полуектова нашли завещание: оно было отнесено к фельдмаршалу, а этот передал его князю Вадбольскому, как человеку, ближайшему к покойному завещателю. Когда тайна Кропотова была прочтена, князь сильно упрекал себя, что накануне так бесчеловечно смеялся над его предчувствиями. Трудно было исторгнуть слезы у Вадбольского, но теперь, прощаясь с товарищем последним целованием, он горько зарыдал.

Тела трех храбрых полковников, убитых в гуммельсгофском сражении, преданы земле на том самом месте, которое завоевал для них герой этого дня. Оно тогда ж обделано дерном; на нем поставлены камень и крест. И донине, посреди гуммельсгофской горы, зеленеет холм, скрывающий благородный прах; но камня и креста давно уже нет на нем.

⁸ Подлинные слова из Дополн. к Деян. Петра I. Кн. 6, стр. 13.

Глава третья

Тот же полдень в другом виде

*...И слабостью людскими
Не надобно пренебрегать:
Во время, в пору нужно знать
Лишь пользоваться ими.*

Аноним

Неподалеку от Гельмета, за изгибом ручья Тарваста, в уклоне берега его, лицом к полдню, врыта была закопченная хижина. Будто крот из норы своей, выглядывала она из-под дерна, служившего ей крышею. Ветки дерев, вкравшись корнями в ее щели, уконопатили ее со всех сторон. Трубы в ней не было; выходом же дыму служили дверь и узкое окно. Большой камень лежал у хижины вместо скамейки. Вблизи ее сочился родник и спалзывал между камешков в ручей Тарваст.

С незапамятных времен хижина эта была родовым именем нищеты, передававшей ее в наследство нищете без судов, без актов и пошлин. Ныне принадлежала она бабке Ганне, как звали ее в округе по ремеслу ее; не одна сотня людей вошла в мир через ее руки. Но как в мире этом все подлежит забвению, еще более человек, в котором перестали иметь нужду, то и Ганне, прежде жившая в достатке и всеми уважаемая, ныне хилая, была забыта и кое-как перебивалась подаванием. В обладании ее дворцом был половинщиком мальчик, внук ее. Чтобы скорее ознакомить читателя с этими лицами, скажем, что Ганне была одна из старух, которые в роковой для Густава вечер поджидали своего посланного у вяза с тремя соснами, внук был рыжеволосый Мартышка.

На дворе чуть брезжилось, а в хижине слышался уже говор. Дверь, растворенная настежь от духоты, пропускала в нее слабый свет занимавшегося утра. В углу, на кровати из нескольких досок, положенных на четырех камнях и пересыпанных излежавшеюся соломой, сидела хозяйка. Безобразие старости выказывалось на ней теперь сильнее, потому что шея, сморщенная, как подбородок индейского петуха, была открыта. В другом углу, на соломе, постланной просто на земле, возился Мартышка: то ложился он, то вставал опять, то, сидя, дремал. Глаза его были мутны от бессонницы; на лице изображалось беспокойство. Старуха, заправляя под платок хлопки седых волос, бормотала сквозь зубы утреннюю молитву и между тем бросала сердитые взгляды на товарища.

– Аль ты меня съесть хочешь? – сказал злой мальчик, передразнивая ее.

– Авита Иуммаль! (Господи помилуй!) – проворчала старуха. – Нелегкое держало тебя ныне в замке; целую ночь напролет шатался.

– Чтобы тебе самой нелегким поперхнуться! Разве ты не знаешь, что московиты и татары будут ныне сюда?

– Татары! Московиты!.. А нам какая до них забота? Чай, и им до нас дела не будет. Придут да уйдут, как льдины в полую воду. В избушке нашей не поживятся и выеденным яйцом.

Злая насмешка выползла из сердца Мартына и блеснула в глазах его.

– Сказывают, – перебил он с коварною улыбкой, – что московиты, лакомые до красоток, увозят их с собою на свою сторону: берегись и ты, любушка! хе-хе-хе!

– Эх, Мартын! грех тебе ругаться над старостью: Господь не даст тебе долгого века. Пришибет, уж пришибет тебя и за то, что моришь меня с голоду по целым суткам. (Старуха постукала сухим кулаком по доске своей кровати.) Смотри, чтобы твоих голубушек в кубышке не

отыскивали! Перекладывай с места на место, а врагу достанутся. (Мальчик задумался.) Сама не возьму, не притронусь, а укажу, укажу... чтоб убил меня дедушка Перкун⁹, коли я лгу!..

У мальчика глаза разгорелись и запыгали. Он вскочил с земли, схватил лежавший подле него булыжник и, подняв руку на старуху, закричал:

– Попытайся, попытайся-ка; тут тебе и дух вон!

– Что ты делаешь, проклятое семя? – вскричала женщина, вошедшая в избу так тихо, как тень вечерняя. Взглянув на пришедшую, мальчик обомлел и выпустил камень из рук.

– Ты это, Елисавета Трейман? – спросила старушка с радостным лицом. – Голос-ат твой слышу, а глазами плохо тебя смекаю.

– Я, бабка Ганне! – отвечала Ильза, поцеловав старушку в лоб, села возле нее на кровать, развязала котомку, бывшую у ней за плечами, и вынула кадушечку с маслом, мягкий ржаной хлеб и бутылку с водкой. – Вот тебе и гостинец, отвесть душку.

Старушка дрожащими иссохшими руками схватила за подарки, не зная, за который прежде приняться; потом бросилась было целовать руку у маркитантши.

– Ну, что нового, бабка Ганне? – продолжала Ильза, отняв у ней руку.

– Нового, нового, мать моя? Дай, Господи, мне память! – сказала голодная старуха, вынув с трудом из стены заржавленный нож и подав его маркитантше, чтобы она отрезала ей хлеба. – Да, у скотника в Пебо отелилась корова бычком о двух головах.

– Э, бабка, это случилось в запрошлом лете.

– А мне кажись, в прошлом месяце. Ахти, мать моя, как времечко-то летит! Пстой же, вот тебе новинка горяченькая. Знаешь девку Лельку, что на краю деревни живет?

– Знаю, ну что ж?

Прислонившись к уху гостыи, старушка шепотом проговорила:

– К ней летает по ночам огненный змей...

Ильза махнула рукой в знак нетерпения и обратилась к мальчику, все еще неподвижно стоявшему на одном месте, как будто пригвожден к нему был суровым взором матери.

– К тебе, сынок баронский, чай, вести ползут свыше? Что слышно в ваших краях?

Приосанясь, отвечал Мартын:

– По крепкому наказу твоему подбирать все, что простачки роняют, я наполнил тебе со вчерашнего дня мешочек вестей. Придумай сама, на что они тебе годятся.

– Развязывай, малый, да смотри, ни одной нечистой порошинки!

– Вот видишь: вчера, когда бароны с кучерами высвободили своих лошадей из путов, в которые мы, с дядею Фрицем, их загнали; когда двуногие гости баронессины ускакали на четвероногих, поднялась в замке пыль столбом. Выкопали из кладовых заржавленные пушки, вычистили их песочком, расставили в развалинах, против господского дома, против дороги в Гуммель, роздали дворовым и крестьянам ружья, пистолеты, кинжалы, большие, большие шпаги, которые только двум с трудом поднять. Баронесса говорила им, бог весть что, о короле, о любви к отечеству, о преданности к господскому дому; а новобранные, вместо всего этого, требовали вина. Правду сказать, многие сделали побоище прежде настоящего сражения, так что вынуждены были отобрать у них оружия и с трудом могли унять их воинский жар. Воротились в Гельмет многие студенты и дворяне, как будто для того, чтобы опорожнить недопитую бутылку, и вызвались защищать его, пока голова будет держаться на плечах. С вечера расставили часовых по всем дорогам: теперь и мышонку не пробежать в замок. Слышишь, как мяучат они, словно черт их давит? Давай-ка, думал я, обманем этих драбантов, как обманул Красный нос маленького шведского генерала, которому и от меня досталась порядочная закуска; посмотрим, что делается в крепости. Было близко к часу духов, крики становились

⁹ Перкун – славянский бог Перун, которого и теперь латыши нередко поминают. «Дедушка Перкун сердится, Перкун стучит», – говорят они, слыша гром.

реже. Пополз я на брюхе оврагом, кустами, через лазейку под ограду и очутился в синели, у амтманова окошка. Ни одна бешеная собака меня не заметила. Вижу, окно раскрыто и огонек светит. Слышу и голос амтмана. «Благодарю, – сказал он, – за гостинец: только напрасно, право напрасно убытчились. Вперед, смотрите, этого не делайте». А я себе на ус: где заказывают да принимают, там примут и в другой раз.

– Полно орехи шелкать; рассказывай дело, – сказала сердито Ильза.

Мартын, заметя, что шуточками не угодить матери, продолжал просто:

– «Вот видите, – говорил амтман, – таких добрых госпож, как наша баронесса, под землею искать надо. Она прощает вам вашу глупость, принимает вас к себе в верховые, по-прежнему, и позволяет малому жениться на твоей дочери, лишь бы вы ей сослужили теперь службу». Потом стал он говорить что-то шепотом, так что мне расслушать нельзя было. «Ради за нее голову положить!» – отвечали два голоса. Голоса были знакомые, а чьи – вдруг разобрать я не мог. Немного погодя застучали ключами и вышли из дому с фонарем амтман, да – кто еще? Как бы ты смекала? – скотник, бывший кастелян Готлиб и товарищ его, пастух Арнольд.

– Может ли статья? Их ли ты видел?

– Их или людей во плоти и образе Готлиба и Арнольда. Я сам диву дался. Пошли они по дорожке, прямо к кладовой, что в саду. Прыг, прыг и я за ними между кустами. Отперли кладовую и выкатили оттуда несколько бочонков. «Поосторожнее с огнем!» – говорил амтман.

– С огнем? – вскричала Ильза, вдохновенная необыкновенною догадкой. – Это были, наверно, бочонки с порохом. Злодейка! Она хочет подорвать Паткуля, Шереметева, русских! Нет, этому не бывать, не бывать, говорю... пока в Елисавете Трейман есть капля крови для мщенья, пока блаженствует рингенский асмодей¹⁰.

– Что с малым сделалось, – сказала старуха, – не дурману ли он объелся, что выпучил так белки свои?

В самом деле, Мартын повел вокруг себя дикими глазами и, повторив раза два: «Подорвать! подорвать!» – бросился вон из двери.

С бешенством посмотрела маркитантша вслед сыну, но след его уже простыл.

«Негодяй! – думала она. – Верно, боится, чтобы вместе с замком не взлетели на воздух любезные денежки его. Иначе не может быть! или он не сын отца своего». Догадываясь также, что Паткулю предстоит в Гельмете опасность, если победа окажется за русских и он явится к баронессе вследствие обещания своего, Ильза ощупью хваталась за разные способы помочь этой беде. Большая часть средств по обстоятельствам не годилась. Думать да гадать, и наконец она придумала: не теряя времени, отправиться с бабкою Ганне в замок, откуда ей, кстати, надо было выпроводить слепца и доставить его к Вольдемару и где надеялась подробнее разведать о замыслах баронессы через Аделаиду Горнгаузен, которой она некогда предсказывала суженого. Как рассчитано, так и сделано.

Гарнизон гильметский был врасплох застигнут нашими посетительницами. Начальники и солдаты, вероятно после сильного ночного сопротивления Морфею¹¹, заключили с ним перемирие: пушкарки исправно храпели у своих орудий; стражи в отводных пикетах около замка, зевая, перекликались. Караульный у подъемного моста, через который надобно было проходить двум подругам, чухонец лет двадцати, обняв крепко мушкет и испустив глубокий вздох, вместо оклика, только что хотел, сидя, прислониться к перилам, чтобы в объятиях сна забыть все мирское, как почувствовал удар по руке. Это был камешек, искусно брошенный Ильзою с противного берега. Чухонец встрепенулся, изловил падший из рук мушкет, привстал, готовился взбудоражить весь страшный гильметский гарнизон; но Ганне успела отвесьть тревогу вопросом, нежно произнесенным:

¹⁰ Асмодей – коварный, злой дух (евр. миф.).

¹¹ Морфей – бог сна (греч. миф.).

– *Июрри, Июрри! йокс ма туллен?*¹²

Названный по имени и слыша родные слова, караульный ободрился, потер себе глаза и, выглядев, от кого шло воззвание, протяжно отвечал, усмехаясь:

– *Арра тулле, эллакене!* (Нет, милочка, не приходи!) *Мы* сердиты: голова болит с похмеля; еще ж на карауле и за себя не ручаемся, чтобы не прожгли вас обеих одним поцелуем этого дурачка (он показал на мушкет). Бултых, бабка, в воду козыми ногами вверх; ступай принимать деток у водяных рожениц.

– Что ты, Юрген, душечка, в уме ли? – сказала старуха нежным голосом, вынув из-за пазухи бутылку с водкой и показав ее чухонцу. – Голова болит? полечим.

– Оно так бы; чего лучше? – пробормотал караульный, почесывая себе голову. – Да кто с тобой?

– Я иду принимать... смекаешь? А это у меня школьница.

Убежденный чухонец опустил мост. Разумеется, что Харону¹³ за пропуск заплачено несколькими добрыми глотками водки и столько же обещано на возвратном пути. Подруги очутились за углом господского двора, у первого окошка в сад. Оно отворено. Все тихо. Только неугомонный сверчок, назло властолюбивой баронессе, тешился, распевая барски в ее палатах. Старушка легонько постучалась в раму раз, два и три; на стук этот выглянула из окна горничная Аделаиды. Переговорщицы были в связях, и переговоры не длились. Помешанная на гадах и волшебстве, дева была вне себя, услышав, что Ганне привела к ней ту самую ворожею, которая за год тому назад обещала ей суженого, богатого, знатного, пригожего, только что не с крылышками, и теперь, отправляясь за тридевять земель, мимоходом принесла ей вести, по приказанию благодетельной волшебницы, об ее суженом оберсте. Пудрамант¹⁴ кое-как накинут на плеча, и посланница феи со своею подругою осторожно впущены задним крыльцом в спальню Аделаиды.

Ильза, вошедши в комнату, подняла сухощавую руку над головой Аделаиды, наклонившейся в глубоком смирении, и, не зная, какое приличное варварское имя дать волшебнице, нашла, однако ж, следующим образом:

– Илья Муромец, – сказала она, – моя повелительница, живущая в Карелии, прислала меня сюда из особенной любви к тебе. Слушай. Русские будут ныне или завтра в Гельмете. Но не бойся и не огорчайся: судьба замка совершается, но вместе с этим должно совершиться твоему счастью. Так положено в совете высшем. В русском войске при фельдмаршале Шереметеве находится брат моей повелительницы, столетний карла. Как скоро он явится в замок, улови его, хватай, не выпуская из рук, щекочи и не давай ему покоя. Знай, он во злобе своей запер твоё благополучие. Измученный тобою, он должен будет привести сюда твоего суженого, оберста... оберста Балтазара фон Вердена, который несколько лет тому назад видел тебя во сне, умирает от любви по тебе, странствует везде, чтобы тебя отыскать; сражается, проливает кровь и бедствует, лишь бы получить руку и сердце твое. Полюби его: вы оба созданы друг для друга. Да будет союз ваш счастлив! Этого желает моя высокая повелительница.

В удостоверение своих слов Ильза взяла из рук старухи белый посох, вынула уголь из кармана, положила его к себе на голову и, очертя посохом круг по воздуху, произнесла таинственным, гробовым голосом:

– Клянусь в истине слов вами, духи невидимые! Если не сбудется, пусть клятва моя поразит мое тело и душу и род мой по девятое колено; пускай почернеет и истлеет, как уголь, этот посох, я и утроба моя.

¹² Начало чухонской песни: «Юрген, Юрген! не пора ли мне к тебе?»

¹³ Харон – перевозчик через подземные реки в царство мертвых (греч. миф.).

¹⁴ Пудрамант (пудромантель) – род накидки, которую надевали, пудрясь.

Аделаида знала, что в простонародии нет ужаснее этой клятвы, внимала ей, дрожа, как в лихорадке, верила обещанию, но еще более верила своему сердцу.

В награду за добрую весть требовала Ильза: во-первых, послать горничную немедленно отыскать путь в спальню Бира, откуда вызвать слепца именем волшебницы Ильи Муромца и сказать ему, что сестра Ильза ждет его у вяза с тремя соснами; во-вторых, дать ей перо, чернильницу и бумагу и, в-третьих, прежде свидания с карлою, вручить по принадлежности письмо, которое напишет она генералу Паткулю, начальнику фон Вердена. Легковерная девушка должна была клясться хранить тайну.

В исполнении этого требования всего труднее было выучить имя, конечно халдейское или арабское, Ильи Муромца. Затруднение наконец преодолено, и немедленно приступлено к вызову слепца.

Между тем Ильза употребила всю хитрость свою, чтобы выведать, какие были намерения баронессы в случае, если русские придут в Гельмет.

– Она хочет защищать Гельмет, – сказала Аделаида, – но в случае неудачи останется дома, чтобы принять и угостить победителя.

– Но зачем же, – спросила Ильза, решась на последнее, – назначать ему заранее квартиру на виселице? Хорошее угощение после такого приема не поможет.

– Я ей сделала тоже этот вопрос и по намекам ее догадалась, что виселица – дипломатическая ловушка; что по ней увидят только глупую месть женщины, а по защите Гельмета – дух геройский в теле женском; но что всю ее, лифляндку Зегевольд, узнают по следствиям. «Хитрость за хитрость. Время покажет, кто кого победит» – вот слова госпожи баронессы, как я их слышала; а что они значат...

– Все, все мне известно до подноготной, – перебила хитрая маркитантша, – я хотела только испытать тебя, дочь моя. Еще один вопрос. За несколько десятков миль отсюда слышала я вчера вечером, что дочь кастеляна Лота выходит замуж?

– И после того, – вскричала Аделаида, смотря на свою гостью с особенным уважением, – после этого придут мне сказать, что нет людей, награжденных чудесным даром предведения! Только вчера вечером объявлена нам эта неожиданная новость, и ты в то ж время проведала о ней?

– О! мы знаем многое, что еще впереди, – таинственно произнесла Ильза и принялась писать на лоскутке бумаги немецкими буквами по-русски послание такого рода:

«Любезнейший мой каспадин Фишерлинг! здесь недобре твой, бочонок порох под дом, и ты умереть. Велеть твой поймать молодой, нынче женил, и отец девки. Смотреть, о! смотреть все: боярыня недобре твой. Здесь в замок девка Аделаида письмо это отдать: очень хочется замуж. Послать твой карла Борис Петрович. Мой сказал: сто лет карла, сыскать ей жених богат, полковник фон Верден. Пожалуй, хорошенько женить. – Верная *Ильза*».

– Отдай эту записку, чтобы никто не видел, – примолвила она, – и помни, что твое благополучие зависит от верного и благоразумного исполнения моего поручения. Будь счастлива.

С последним словом Ильза важно простерла длинную, сухощавую руку над головою правнучки седьмого лифляндского гермейстера, махнула Ганне, чтобы она за нею следовала, и, обернувшись в хитон свой, спешила к месту свидания, назначенному для слепца. Сам Бир проводил Конрада из Торнео и сдал его маркитантше с рук на руки.

Как покорное дитя, старец шел всегда, куда его только звали именем друга. Ныне путеводимый своею Антигоною¹⁵, он ускорял шаги, потому что каждый шаг приближал его к един-

¹⁵ Антигона – героиня одноименной трагедии Софокла (род. около 497–406 гг. до н. э.).

ственному любимцу его сердца. Сначала все было тихо вокруг них. Вдруг шум, подобный тому, когда огромная стая птиц летит на ночлег, прорезал воздух.

– Что такое? – спросил слепец.

– Вдали к Гуммелю мчится эскадрон шведский, – отвечала Ильза.

Опять все утихло, и опять через несколько времени послышался как бы подземный гром, глухо прокатившийся.

– Это что такое? – спросил слепец.

– Туда ж несутся пушки шведские, – отвечала Ильза.

Снова нашла тишина, как в храме, где давно кончилось богослужение, и вдруг раздался в отдалении первый удар пушки.

– Война! битва! – произнес Конрад с глубоким вздохом, торопясь вперед.

– Война! битва! – повторила его спутница с диким удовольствием. – Пусть дерутся, режутся; пусть сосут друг у друга кровь! и я потешусь на этом пиру.

Старец, казалось, не слышал этих слов; беспокойство надвинуло тень на лицо его.

– Где-то теперь мой Вольдемар? – сказал он, покачав головой. – Дни его начинают быть бурны. Он чаще покидает меня.

– Он у своего места; мы к нему идем, – отвечала Ильза. – Работай, друг! И я для тебя довольно поработала! Пора и награду!.. Мне Ринген, погибель злодея, его страдания; Вольдемару...

– Не отравляй устами порочными святой награды моего друга, – перебил Конрад, – не прикасайся к чистому венку его рукою, оскверненною злодеяниями. Ильза! ты не имела никогда родины.

Хохот был ответом ее; будто отголоски нечистого духа, он раздробился в роще, по которой они шли. Сильная стрельба покрыла адский хохот.

Вскоре поравнялись они с гуммельсгофскою горою, над которой качалось облако порохового дыму. Обошед ее, путники остановились в одной из ближайших к ней рощей, откуда можно было видеть все, что происходило в лошине.

– Боже! – вскрикнула Ильза голосом отчаяния, протянув шею. – Они бегут!

– Кто? – спросил с тревожным духом слепец.

– Русские бегут! нет спасения! – продолжала Ильза, ломая себе руки. – Злодей будет торжествовать! злодей заочно насмеется надо мной!.. Оставайся ты, слепец, один: меня оставило же Провидение! Что мне до бедствий чужих? Я в няньки не нанималась к тебе. Иду – буду сама действовать! на что мне помощь русских, Паткуля; на что мне умолять безжалостную судьбу? Она потакает злодеям. Да, ей весело, любо!

Глаза Ильзы ужасно прыгали; отчаяние перехватывало ее слова. Не слушая молений старца, она бросилась к гуммельсгофской горе, целиком, сквозь терновые кусты, по острым камням.

– Ильза, Ильза, где ты? – спрашивал жалобно слепец, ловя в воздухе предмет, на который мог бы опереться. – Никто не слышит меня: я один в пустыне. Один?... а Господь Бог мой?... Он со мной и меня не покинет! – продолжал Конрад и, преклонив голову на грудь, погрузился в моление.

Ильза явилась на горе, в изодранной одежде, вся исцарапанная и израненная шиповником, без повязки, с растрепанными по плечам волосами – прямо у боку Вольдемара. Дорогою бешенство ее несколько поутихло.

– Вольдемар! – сказала она голосом, который, казалось, выходил из могилы. – Мы погибем!

Вольдемар и без того был бледен, как смерть; слова, подле него произнесенные, заставили его затрепетать. С ужасом оглянулся он и окаменел, увидев маркитантку.

– Что это за женщина? – спросил Шлиппенбах, заметив ее.

– Сумасшедшая чухонская девка. Я с нею скоро справлюсь, – отвечал Вольдемар, повернул свою лошадь и махнул Ильзе, чтобы она за ним следовала. Долго думал он, что предпринять, отведя ее за мельницу, откуда не могли они быть видимы генерал-вахтмейстером. Счастливая мысль блеснула наконец в его голове. – Не спрашиваю, откуда ты в таком виде, – сказал он маркигантше, – довольно; мы погибаем; но ты можешь спасти русских, меня и себя.

– Спасти?.. говори, что нужно сделать. Вели идти прямо в огонь, и ты меня там увидишь. Мне все равно умирать. Буду убита, ты отмстишь за меня. Клянись всем, что для тебя дорого, ты отмстишь тогда.

– Клянусь!

– Приказывай.

– Видишь, конь не имеет седока: излови его и лети на нем прямо в ряды шведские, промчись только мимо них, как дух, и пронеси весть, что главная армия русских идет в обход от Пекгофа.

Ильза на коне; она мчится, как вихрь, в пыл самой битвы; она сеет ужасную весть по рядам шведским. Мы видели, какое действие произвела между ними эта весть. Вдали, на противном возвышении, Ильза свидетельница поражения шведов. Ринген и месть опять в сердце ее; опять зажглись ее черные очи адскою радостью. В торжестве она забывает свои раны, но вспоминает о слепце, которого оставила одного. «Лошади бегущих и поражающих могут истоптать его!» – думает она; скачет обратно на гуммельсгофскую гору, бросает свою лошадь и, как мы также видели, вырывает Вольдемара из толпы русских, его обступившей.

Свидание последнего со слепцом было самое радостное. Мир, опустевший для Конрада, снова наполнился и оживился. Все трое принесли благодарение Вышнему, каждый от души, более или менее чистой. Вольдемар то погружался в сладкие думы, положив голову на колена слепца, который в это время иссохшими руками перебирал его кудри; то вставал, с восторгом прислушиваясь к отголоскам торжественных звуков русских; то изъяснял свою благодарность Ильзе. Казалось, он в эти минуты блаженства хотел бы весь мир прижать к своему сердцу, как друга.

Отдохнув несколько часов, музыканты поплелись по направлению к Менцену; Ильза провожала их до сооргофского леса, где она оставила свою походную тележку у тамошнего угольника.

Глава четвертая

Комедия и трагедия

Споркина

Ах! я охотница большая до комедий.

Свахина

А я до жалких драм.

Чванова

А я так до трагедий.

Комедия «Говоруни», Хмельницкий

Не стану описанием осады Гельмета утомлять читателя. Скажу только, что крестьяне-воины при первом пушечном выстреле разбежались; но баронесса Зегевольд и оба Траутфеттера с несколькими десятками лифляндских офицеров, помещиков и студентов и едва ли с тысячею солдат, привлеченных к последнему оставшемуся знамени, все сделали, что могли только честь, мужество, искусство и, прибавить надо, любовь двух братьев-соперников. Между тем как женщины, собравшись в одну комнату, наполняли ее стенаниями или в немом отчаянии молились, ожидая ежеминутно конца жизни; между тем как Бир под свистом пуль переносил в пещеру свой кабинет натуральной истории, своих греков и римлян и амтман Шнурбаух выводил экипаж за сад к водяной мельнице, баронесса в амазонском платье старалась всем распорядиться, везде присутствовала и всех ободряла. Наконец, видя невозможность сопротивляться отряду Паткуля и страшась не за себя – за честь и жизнь своей дочери, она решилась отправить Луизу под защиту ее жениха. Русские с ужасным криком перелезали через палисады, окружавшие замок. Один из студентов, преданных дому Зегевольдов, послан был в ряды сражавшихся для вызова Адольфа и вместе для переговоров с начальником русским о сдаче замка на таких условиях, чтобы позволено было дочери баронессиной выехать из него безопасно, сама же владетельница замка предавалась великодушию победителя.

Предводитель осаждающих на этих условиях приказал остановить наступательные действия и не занимать дороги к Пернову.

– Иди, спасай Луизу, пока еще время, – кричал Густав своему брату, сплачивая у главного входа в замок крепкую ограду из оставшихся при нем солдат. – Спасай свою невесту.

– Пускай бегут женщины! – возразил с твердостью Адольф. – Мое место здесь, возле тебя, пока смерть не выбила оружия из рук наших.

– Видишь, что все потеряно.

– Все, милый Густав! Что скажет о нас король?

– Король скажет, что лифляндцы сражались за него честно до последней возможности...

Но Луиза?.. но... твоя невеста? Дай ей, по крайней мере, знать, чтобы она бежала.

– Сделай это ты.

– Когда бы мог! Тебя требуют. Слышишь? крик женщины!.. Это она. Ради бога, беги, спасай ее. Разве ты хочешь, чтобы татары наложили на нее руки?

В самом деле послышался крик женщины: несколько русских солдат всунули уже головы в окошки дома и вглядывались, какую добычею выгоднее воспользоваться. Адольф, забыв все на свете, поспешил, куда его призывали. Баронессу застал он на террасе; Луизу, полумертвую, несли на руках слуги.

– Спаси дочь мою! – закричала баронесса Адольфу умоляющим голосом. – Поручаю ее тебе, сдаю на твои руки, как будущую твою супругу. Не оставь ее; может быть, завтра у ней не станет матери.

Луиза открыла глаза.

– Вот тебе муж, – продолжала Зегевольд, поцеловав с нежностью дочь. – Люби его и будь счастлива. Благословляю вас теперь на этом месте, как бы я благословила вас в храме Бога живаго.

Луиза, пришед в себя, хотела говорить – не могла... казалось, искала кого-то глазами, рыдая, бросилась на грудь матери, потом на руки Бира, и, увлеченная им и Адольфом, отнесена через сад к мельничной плотине, где ожидала их карета, запряженная четырьмя бойкими лошадьми. Кое-как посадили в нее Луизу; Адольф и Бир сели по бокам ее. Экипаж помчался по дороге к Пернову: он должен был, где окажется возможность, поворотить в Ринген, где поблизости баронесса имела мызу.

Между тем у главного входа в замок началось вновь сражение. Несмотря на то что баронесса махала из окна платком, давая знать, чтобы прекратили неровный бой, и приказала выставить над домом флаг в знак покорности, Густав не хотел никого слушаться, не сдавался в плен с ничтожным отрядом своим и, казалось, искал смерти. Раненный в плечо и ногу, он не чувствовал боли. Почти все товарищи его пали или сдались. Наконец он окружен со всех сторон русскими, которые, как заметно было, старались взять его в плен, сберегая его жизнь. Командовавший ими офицер пробрался к нему с словами любви и мира. Густав ничему не внимал: отчаянным ударом палаша выбил он шпагу из рук его, худо приготовившегося.

– Густав! – закричал русский офицер. – Именем Луизы остановись. (Будто околдованный этими словами, Густав опустил руку.) Видишь, храбрые твои товарищи сдаются в плен.

– Именем ее бери и меня, – вскричал Густав, бросив свой палаш. – Не спрашиваю, кто ты, что мне нужды до того! Ты должен быть Паткуль; но я не Паткулю сдаюсь! Теперь влеки меня за собою в Московию, на край света, куда хочешь – я твой пленник!

Паткуль спешил его успокоить, сколько позволяли обстоятельства, и, зная, как тяжело было бы несчастному Густаву оставаться в Гельмете, велел отправить его под верным прикрытием на мызу господина Блументроста, где он мог найти утешение добрых людей и попечение хорошего медика. Сам же отправился к баронессе, чтобы по форме принять из собственных рук ее ключи от Гельмета.

– Вы приготовили мне квартиру слишком высоко и слишком воздушную; признаюсь вам, боюсь головокружения, – сказал Паткуль дипломатке, вступив с многочисленною свитою в комнату, где она ожидала его. – Но я не пришел мстить вам за вашу насмешку; я пришел только выполнить слово русского генерала, назначившего в вашем доме свою квартиру на нынешний и завтрашний день, и еще, – прибавил он с усмешкою, – выполнить обещание доктора Зибенбюргера: доставить к вам Паткуля живьем. Кажется, я точен. Слишком постыдно мне было бы мстить женщине; я веду войну с королем вашим, и с ним только хочу иметь дело.

Баронесса, преклонив голову, отвечала с притворным смирением:

– Вверяю свою участь и участь Гельмета великодушию победителя.

– Будьте спокойны, – сказал Паткуль; потом присовокупил по-французски, обратившись к офицеру, стоявшему в уважительном положении недалеко от него, и указав ему на солдат, вломившихся было в дом: – Господин полковник Дюмон! рассейте эту сволочь и поставьте у всех входов стражу с крепким наказом, что за малейшую обиду кому бы то ни было из обитателей Гельмета мне будут отвечать головою. Помнить, что почтеннейшая баронесса не перестала быть хозяйкою дома и что здесь моя квартира! Я уверен, что вы успокоите дам с тем благородством, которое вашей нации и особенно вам так сродно.

Дюмон поспешил было исполнить волю своего начальника; но Паткуль, остановив его, сказал ему по-русски:

– Не забудьте, полковник, что мы имеем дело не с женщиною, а с бесом. Хозяйка в необыкновенном духе смирения: это худой знак! Прикажите как можно быть осторожнее и не дремать!

В самом деле, казалось, великодушие Паткуля победило дипломатку и вражда забыта. Вскоре завязался между ними разговор живой и остроумный; слушая их, можно было думать, что они продолжают вчерашнюю беседу, так нечаянно прерванную. Дав пищу уму, не заставили и желудок голодать; кстати, и обед вчерашний пригодился. Сытно ели, хорошо запивали, обещались так же отдохнуть и пожалели, что бедный генерал-вахтмейстер, любивший лакомый кус и доброе вино, начал и кончил свои дела натошак. Этому замечанию всех более смеялась баронесса.

– Зато вы, генерал, – говорила она Паткулю, – исполнили обет нашего пилигрима, захромавшего на пути к хорошему столу и к храму славы: вам, конечно, сладко будет и уснуть на миртах и лаврах.

За столом, подле Паткуля, сидели с одной стороны хозяйка, с другой Аделаида Горнгаузен. Последняя, видимо, искала этого почетного места. Победив свою сентиментальную робость, она решилась во что бы ни стало вручить своему соседу роковое послание, потому что начинало смеркаться и день ускользал, может быть, с ее счастьем. Паткуль заметил ее особенное к нему внимание, слышал даже, что его легонько толкало женское колено, что на ногу его наступила ножка.

«Чем не шутит черт, превратясь в амура! – думал он. – Соседка ведет на меня атаку по форме. Ага! да вот и цидулка¹⁶ пала ко мне в руку. Конечно, назначение места свидания!»

– Будет прекрасный вечер! – сказала баронесса.

– Да, – отвечал Паткуль, обернувшись к окну, будто рассматривая небесные светила, – звезда любви восходит, отогнав от себя все облака. Она сулит нам удовольствие; но, признаюсь вам, приятнее наслаждаться ее светом из своей комнаты, нежели под открытым небом, в нынешние росистые ночи.

Аделаида покраснела. Паткуль начал особенно любезничать с ней; но, к удивлению его, соседка вдруг обернула лист.

– Знаете ли вы Илью Муромца? – спросила она.

Это роковое имя, этот пароль, известный только преданнейшим его агентам, обдал его холодом. Куда девалось его остроумие? До окончания стола он сидел как на иглах. Загадка разрешилась после обеда, когда он, удалясь в другую комнату, развернул врученную ему так осторожно записку и прочел в ней предостережение Ильзы. Как обязательно умел он отблагодарить Аделаиду! При ней же тотчас послано было за карлой Шереметева.

– Еще раз спасен я от гибели! – говорил он наедине Дюмону. – Этому нельзя иначе быть: час мой не прispел! Знаете ли, полковник, – продолжал он таинственным голосом, показывая ему ладонь правой руки своей, – знаете ли, что судьба моя здесь давно прочитана мне одним астрологом так ясно, как мы читаем дороги на ландкартах? Вы смеетесь! Верьте, что я не шутя говорю. Надо только быть посвящену в астрологические тайны, чтоб уметь различать бредни от истины. Вот, например, как не смеяться было мне предсказанию прусского тайного советника Ильгена, который по моей ладони пророчил мне насильственную смерть!.. Знаю, звезда моя должна пасть, но не здесь, в Лифляндии. Видите черточки: одна, две, три, четыре, пять... потом сближение двух венцов, и наконец... Но что будет, то будет! По крайней мере, я поживу довольно, чтобы отомстить Карлу и не умереть в истории.

С трудом мог Дюмон верить, чтобы Паткуль, хитрый, благоразумный дипломат, храбрый полководец и человек просвещенный, мог до такой степени запутать свой рассудок в астрологических бреднях; но, как вежливый француз, согласился с ним наконец, что астрология есть наука, напрасно пренебрегаемая людьми нового века.

Допросили молодого служителя, который за будущие заслуги успел только сделаться мужем пригожей Лотхен: грозили увезть его подругу в Московию, если он не откроет заговора.

¹⁶ Цидулка – письмо, весточка (укр.).

Чего не выпытали бы телесные муки, то высказала любовь. В самую полночь, когда все улеглись бы спать, баронесса должна была на веревочной лестнице спуститься из окна, бежать через сад, там переодеться крестьянином и под этим видом достигнуть ближайшей рощи, где должен был ожидать ее проводник с надежным конем; между тем огонь, по проведенной неприметно пороховой дорожке, пробежав сквозь разбитое в подвале окно, коснулся бы нескольких бочонков с порохом. Из рощи баронесса видела бы взрыв дома и свое торжество. Хороши расчеты, но человеческие!

Разумеется, что счастливым соперником ее приняты были все меры к уничтожению этого замысла; но дипломатке не показывали, что тайна открыта. Русские офицеры, собравшиеся в замке, и хозяйка его, как давно знакомые, как приятели, беседовали и шутили по-прежнему. К умножению общего веселия, прибыл и карла Шереметева. С приходом его в глазах Аделаиды все закружилось и запрыгало: она сама дрожала от страха и чувства близкого счастья.

– Туда ли я попал, братцы? – сказал карла, кланяясь умильно и важно на все стороны. – Меня звали в главную квартиру генерала русского; а здесь, эге! вижу я, один иностранец между вами. Не мигай мне, Иван Ринальдович, на молодца: дескать, забыл ты немецкое учтивство. Понабрались и мы его, около немцев-русских и русских-немцев с утра до ночи. О! мы знаем политику: умеем не хуже каспадина обриста фон Верден улизнуть назад, когда жарконько бывает в иной час; зато на приклад в таких хоромцах, где есть фрау фон и фрейлейн фон, стоим за себя.

Здесь карла охорошил, поправил свой парик, расшаркался и, как вежливый кавалер, подошел к руке баронессы и потом Аделаиды. Первая от души смеялась, смотря на эту чудную и, как видно было по глазам его, умную фигуру, и охотно сама его поцеловала в лоб; вторая, вместе с поцелуем, задержала его и, краснея от стыда, который, однако ж, побеждало в ней желание счастья, полегоньку начала увлекать его в другую комнату. Он – выпутываться из рук ее; она – еще более его удерживать.

– Что ты делаешь? – спросила с сердцем баронесса.

– Мне нужно сказать ему слово, – отвечала решительно Аделаида, боявшаяся упустить в карле свою судьбу.

– Барышня желает поговорить с тобою в другой комнате, – сказал Паткуль по-русски, – невежливо не исполнить ее желания.

Со страхом пополам решился Голиаф отдаться в плен своей Цирцее¹⁷, которая, осторожно притворив за собою дверь и не выпуская его из рук, села на кресла и посадила его к себе на колена.

– Покуда не худо! – говорил карла, покачиваясь на коленях Аделаиды. – Что-то будет далее? Жаль, что коню не по зубам корм.

Сначала все шло хорошо. Аделаида упрашивала, умоляла его жалобным голосом, чтобы он отпустил к ней ее суженого, целовала его с нежностью, целовала даже его руки; но когда увидела, что лукавый карла не хотел понимать этих красноречивых выражений и не думал выполнить волю благодетельной волшебницы, тогда, озлобясь, она решительно стала требовать у него жениха, фон Вердена, щекотала, щипала малютку немилосердо. Бедный мученик защищался сколько мог, но потом, выбившись из сил, начал кричать не на шутку и, когда на крик его отворили дверь, возопил жалобным голосом:

– Помогите, родные мои, помогите! Спросите эту русалку, чего она хочет? Уф! она меня замучила, защекотала, защипала. Батюшки мои! да, видно, в здешнем краю нет вовсе мужчин. Пошлите хоть за Верденом, которого она то и дело поминает: малой дюжий, ражий, не мне чета!

¹⁷ Цирцея – в греческой мифологии волшебница с острова Эя. Иносказательно: обворожительница.

Все, не выключая баронессы, хохотали до слез, смотря на эту сцену. (За тайну было объявлено многим из присутствовавших, что воспитанница ее помешана на карлах, рыцарях и волшебниках.)

Комедия была искусно приготовлена. Доложили о прибытии фон Вердена, и сцена переменялась. При этом магическом слове карла был выпущен из плена, и Аделаида поспешила исправить свой туалет, несколько поизмятый упорством Голиафа. Между тем Паткуль вытвердил фон Вердену его роль. Но кто бы ожидать мог? При появлении отрасли седьмого лифляндского гермейстера у нашего Марса разгорелись глаза, как у кота на лакомый кусок. Он признался, что никто не *приходил* ему так *по нраву* и что он непременно завтра же возьмет ее к себе в обоз.

– Помните, господин полковник! – сказал Паткуль. – Она хотя и дальняя мне родственница, но все-таки родственница, и вы не иначе получите ее, как в церкви.

– А почему ж и не так, ваше превосходительство? – говорил фон Верден, лорнируя глазом свою красавицу. – Почему ж и не так? Когда-нибудь мне жениться надо; случай предстоит удобный: лучше теперь, чем позже, и тем лучше, что я вступаю в родство вашего превосходительства.

Представили суженого невесте. Жениху считали под пятьдесят, но он был свеж, румян и статен, к тому ж оберстер, ждал с часу на час генеральства, которое едва ли не равнялось с контурством¹⁸; страдал, резался за нее несколько лет и, вероятно, оттого и состарился, что слишком подвизался в трудах за нее; вдобавок, оставленный с Аделаидой наедине, объяснился ей в любви с коленопреклонением, как следует благородному рыцарю. Достоинства эти оценены. Рыцарь ошастливлен вздохом и признанием во взаимной любви. Оставалось веселым пирком да и за свадебку; но Аделаида хотела еще испытать своего жениха и не иначе решилась идти с ним в храм Гименея, как тогда, когда Марс¹⁹ вложит меч в ножны свои. Такая отсрочка, несносная, особенно для военного, который любит все делать на марше, пахнула зимним холодом на счастливого любовника, и с этого рокового объявления он уже только из угождения своему начальнику играл роль страстного рыцаря.

– Теперь, – сказал Паткуль иронически, – мы отпразднуем сговор достойным образом. Почтеннейшая хозяйка была так любезна, что приготовила нам чудесный фейерверк. Мы не будем дожидаться полуночи, не допустим какого-нибудь слугу зажечь его, но, как военные, сами исполним эту обязанность. (Баронесса побледнела.) О! стоит его посмотреть; только издали эффект будет сильнее. Программа этой потехи: здешний замок и с ним ваш покорнейший слуга – на воздух.

– Господин генерал-кригскомиссар! Я только теперь признаю вас таким, – произнесла баронесса с видимым смирением. – Вы победили меня. Горжусь, по крайней мере, тем, что, имев дело с могучим царем Алексеевичем и умнейшим министром нашего века, едва не разрушила побед одного и смелой политики другого. Надеюсь, что для изображения этой борьбы история уделит одну страничку лифляндке Зегевольд.

– Покуда скажу вам, госпожа баронесса, что сороке нейдет мешаться там, где дерутся коршуны. Впрочем, будьте спокойны: Паткулю постыдно мстить женщине. Это самое избавляет вас от качель, которые мне приготовили. Как бы то ни было, дело кончено. В доказательство же искреннего к вам расположения предлагаю вам немедленно выехать из Гельмета и взять с собою кого и что почтете нужным. Охранная стража проводит вас до черты, нами не занятой. Предупреждаю вас, что завтра утром замок ваш будет разграблен: добыча эта принадлежит солдату по праву победы.

¹⁸ Контурство (комтурство) – область, передававшаяся особому члену духовно-рыцарского ордена, комтуру, в управление.

¹⁹ Марс – бог войны у древних римлян, то же, что Арей у греков.

Можно догадаться, что баронесса воспользовалась таким великодушным предложением, дав себе слово не мешаться впредь ни в какие политические дела.

Через час после ее отъезда все уже спало в замке; только одни усталые стражи русские перекликались по временам на тех местах, которые вчера еще охраняли немцы и латыши. Так все на свете сменяется: великие и малые входят в него только на часовой караул. Все спало, сказал я; свет месяца, пригвожденного к голубому небу, как серебряный Оссианов²⁰ щит, переливался на волнуемой жатве и зелени лугов, охрусталенной густою росой; но вскоре и месяц, казалось, утратил свой блеск. Новый, красноватый свет разлился по земле, и кругом небо-склона встали огненные столбы: это были зарева пожаров. Из тишины ночи поднялись вопли жителей, ограбленных, лишенных крова и тысячами забираемых в плен. Таков был еще способ русских воевать, или, лучше сказать, такова была политика их, делавшая из завоеванного края степь, чтобы лишить в нем неприятеля средств содержать себя, – жестокая политика, извиняемая только временем!

– Подожди еще гореть ты, Ринген! подожди, пока месть Елисаветы Трейман не погуляла в тебе! – говорила Ильза, приближаясь вторично в один и тот же день к Гельмету. Поутру она была пешая: теперь катила на своей походной тележке, далеко упреждавшей о себе стуком по битой дороге. Стражи окликнули маркитантку; но, узнав любимицу свою, тотчас ее пропустили и доложили ей именем Мурзенки, что он, взяв проводника, поскакал опустошать окрестные замки и что к утру ждет ее в Рингене.

В виду стояла хижина бабки Ганне. Отправляясь в поход против злейшего своего врага, не проститься с нею, может быть, прощанием вечным, почитала она за грех. Вздумано – сделано. Конь привязан к кусту, и маркитантка на пороге хижины. Дверь была отворена настежь; зарево пожаров вместе со светом месяца освещало вполне все предметы. Ильза переступила порог. Все было тихо гробовою тишиной; хоть бы вздох или дыхание сонного отозвались жизнью! На кровати лежала Ганне; она смотрела в оба глаза с кровавыми полосами вместо ресниц и улыбалась, как будто хотела говорить: «Юрген! Юрген! не пора ли мне к тебе?» На левом ее виске было большое темное пятно. Ильза подумала сначала, что это тень, отбрасываемая с потолка круглым предметом. Она подходит ближе, будит Ганне... но Ганне спит сном непробудным. Она берет ее за руку: рука – лед.

– Умереть ей когда-нибудь надо было, – говорит сама с собою Ильза, – но черное пятно на виске не тень. Злодейская рука ее убила!

Она смотрит на пол – роковой голыш у кровати; оглядывается – вдоль стены висит Мартын... Посинелое лицо, подкатившиеся под лоб глаза, рыжие волосы, дыбом вставшие, – все говорит о насильственной смерти. Крепкий сук воткнут в стену, и к нему привязана веревка. Нельзя сомневаться: он убил Ганне по какому-нибудь подозрению и после сам удавился. Русским не за что губить старушку и мальчика, живших в нищенской хижине.

– Сын разврата! – восклицает ожесточенная Ильза, не проронив ни одной слезинки, потому что слезы подавлены были камнем, стоявшим у сердца ее. – Ты умер настоящею своею смертью: тебе иначе и умереть не должно! Но зачем погубил ты эту несчастную?

Она бежит на ближайший пикет, берет из костра пылающую головню, спрашивает трех солдат идти за нею. Солдаты ей повинуются; один из них берет головню в руки.

– Видите ли этого злодея! – сказала она, приведя их в хижину. – Он убил свою бабушку и сам удавился.

Солдаты, привыкшие к ужасам смерти, с робостию отступили назад при виде мертвецов; но, вскоре ознакомившись с этим зрелищем, подошли к ним ближе.

– Черту баран! – закричал один, вглядываясь в мальчика.

²⁰ Оссиан – легендарный певец, герой кельтского народного эпоса.

– А, да это знакомец? – прибавил второй со смехом, светя головнею в лицо удавленника и опаливая у него волосы. – Ведашь, рыжий, бойкой мальчик, у которого Удалый из третьей роты отнял подле разломанной башни кувшин с мешочком, набитым серебряными копеечками.

– Он и есть, – продолжал третий. – Диву дались, где он, окаянный, эку пропасть денег набрал. Хоть бы у боярина немецкого столько пожить. Этакой добычи Удалому спать было не выпать.

– И то правду сказать, – перебил второй, – кабы мы с тобой не пришли на помощь, изъел бы его мальчишка зубами; вишь, и теперь скалит их, будто хочет укусить. На, ешь, собака!

Тут солдат ткнул головнею в зубы мальчику.

В каком-то безумном молчании Ильза смотрела на старушку; но, когда услышала, что солдаты ругаются над ее сыном, природное чувство не любви – нет! – но крови пробудилось в ней – и она оттолкнула рукой солдата, вооруженного головнею.

– Прочь! – он сын мой! – вскричала иступленная, вытащила клин, на котором висел удавленник, положила Мартына на землю, сбегала за своей тележкой и уложила его на нее.

– Куда ж везешь дитятку? – спросили солдаты.

– К отцу-сатане в гости! – отвечала она. – Теперь помогите мне похоронить старушку. Пускай же дом, в котором она жила, будет и по смерти ее домом. Не доставайся ж он никому в наследство.

Тут она просила солдат отнять два столбика, подпиравшие крышу; желание ее было выполнено, и в один миг вместо хижины остался только земляной, безобразный холм, над которым кружился пыльный столб. Солдатам послышался запах серы; им чудилось, что кто-то закричал и застонал под землей, – и они, творя молитвы, спешили без оглядки на пикет.

Ильза, сев на свою лошадку и погнав ее по дороге в Ринген, запела протяжным похоронным напевом следующую старинную песню; к ней, по временам, примешивались вопли ограбленных, разносимые ветром:

Отворяй, барон, ворота:
Едем в гости к тебе.
Высылай навстречу ты нам
Кастеляна с ключом,
Меченосца в латах златых,
Пажа, нес чтоб привет.
Отворяй, барон, ворота:
Едем в гости к тебе.
Ты задай на славу нам пир!
Вот как, скажут, барон
Угощает сына, жену.
Столько лет не видав!

Отворяй, барон, ворота:
Едем в гости к тебе.
Ты поставь на стол, у тебя
Что ни лучшего есть:
Свое сердце в желчи, в крови,
Очи милой своей.

Отворяй, барон, ворота:
Едем в гости к тебе.

Двухколесная тележка шумела по битой дороге; долго горело зарево пожаров; месяц глядел в открытые очи мертвеца; и раздавался в отдалении похоронный напев Ильзы.

Глава пятая

Приговор

*То было привиденье.
Враждебный дух, изникнувший из ада,
Чтобы смутить во мне святую веру!
Но мне, с мечом владыки моего,
Кто страшен? Нет, иду, зовет победа!
Пусть на меня весь ад вооружится:
Жив бог – моя надежда не смутится!*
«Орлеанская дева», перевод Жуковского

Через несколько дней после Гуммельсгофской битвы, в глухое ночное время, пробирались к стороне Менцена (русскими названного *Черною мызою*) слепец и его товарищ. С самой роковой победы русских, избегая мести Шлиппенбаха, Вольдемар избирал это время для своего путешествия. Ночь была темная; но он знал хорошо местность и не боялся запутаться. Весело и легко шел он, ведя одною рукою своего спутника, другую помахивая узловатым дубовым кистенем. Оставалось им до Менцена близ полумили; но путь их не туда был: за оврагом отделялась от большой дороги тропинка в леса. Там, под густою сенью их, в бедной хижине лесника, ожидало наших странников спокойное перепутье. Следующий день должен был их увидеть на мызе господина Блументроста, близ Долины мертвецов.

Слепец начал приостанавливаться.

– Что с тобою? – заботливо спросил его младший путник.

– Чудные видения обступили меня теперь, – отвечал Конрад. – Я видел край, доселе неведомый мне. Каменная зубчатая стена белелась на берегу реки; за стеною, на горе, рассыпаны были белокаменные палаты, с большими крыльцами, с теремами, с башенками, и множество храмов Божиих с золотыми верхами в виде пылающих сердец; на крестах их теплился луч восходящего солнца, а крыши горели, подобно латам рыцаря; в храмах было зажжено множество свечей. Я слышал: в них пели что-то радостное; но то были песни неземные...

– Друг! – сказал Вольдемар, пожимая товарищу руку. – Ты видел мою родину.

При этом слове оба путника поникнули душою, как перед святынею. Молчал благоговеино слепец; молчал младший странник; слезы омочили его лицо, и сладостные видения друга перешли в его сердце вместе с надеждою, залетною гостьею, еще никогда так крепко не ластившеюся к нему.

Не заметил Вольдемар, как поднялась черная туча, как насунулась на них. Сделалась темь, хоть глаз выколи. И слепой и зрячий видели почти равно: оба вели друг друга, ощупывая дорогу ногами и посохом. Они подошли к оврагу и почти сползли в него. Вправо были кусты, в них мелькнул огонек, еще раз мелькнул и скрылся; черные тени ходили, поднимались и упали. «Что бы это значило? – думал Вольдемар. – Волк не сверкает так глазами, ища добычи. Разбойников не слышать в Лифляндии. Может быть, нечистые бродят в полуночные часы?» Кровь у него потекла быстрее. Три раза перекрестился он, три раза прочел: «*Да воскреснет Бог и расточатся врази его!*...» – и успокоился. Выбравшись из оврага, он невольно оглянулся. Что ж? Таинственный огонек показался опять, вышел из кустов в овраг и следил его. Вольдемар от него по тропе в лес – он повернул за ним, но вдруг на новом повороте исчез. Бесстрашный в самых трудных и грозных случаях, когда имел дело с живыми людьми, гуслист оробел перед духами, которые его преследовали. Ему казалось, что его хватают сзади за плеча, что его кличут; увлекая старца, он торопил свои шаги, нередко спотыкался и читал про себя молитву.

Туча сдвинулась с полнеба, звезды заискрились, предметы несколько выступили из земли, и вход в лес означился. Вольдемар с трудом поворотил шею, сжатую страхом: нигде уж не видать было огонька. Члены его развязались, грудь освободилась от тяжести, на ней лежавшей; ветерок повеял ему в лицо прямо с востока, и сердце его освежилось. Смело вошел он в лес и через несколько минут очутился в хижине лесничего.

Дверь в нее, по обыкновению латышей, была отворена; лучина горела в светце и тускло освещала внутренность дымной избы, зажигая по временам на воздухе сажу, падавшую с закоптелого потолка. Сквозь дым, по избе расстилавшийся, можно было еще различить доску на двух пнях, заменявшую стол, на ней чашу с какою-то похлебкою, тут же валяную белую шапку и топор, раскиданную по земле посуду, корыто для корма свиней, в углу развалившуюся свинью с семьею новорожденных, а около стола самого хозяина-латыша, вероятно только что пришедшего с ночного дозора, и жену его. Оба подпарились древностию лет²¹, распущенными по плечам волосами, светлыми, наподобие льна, и одеждою, столь нечистою, что можно было высечь из нее огонь, как из трута. Они прихлебывали из чаши и при отдыхах вели нехитрую речь. Услышав, что вошли в избу, старуха велела мужу *нишкнуть*, сняла лучину со светца, обломала нагар, выставила ее вперед и приложила левую руку над глазами, чтобы лучше видеть.

– А! это *старшина*²², – сказала она, вложив опять лучину в светец, и по-прежнему стала вкушать от скромной трапезы и приправлять ее беседою. Хозяин едва кивнул вошедшим и, не заботясь о них, продолжал хлопотать около чаши с похлебкой.

Вольдемар усадил слепца на одной из скамей, к углу избы прислоненной, и сам сел подле него.

– Не слышать ли в вашем краю солдат? – спросил он после краткого молчания.

– Авита, Иуммаль, авита! (Помилуй, Господи, помилуй!) – отвечал латыш, не поворачиваясь. – Давеча, только што солнышко пало, налетело синих на мызу и невесть што, словно весною рой жуков на сосну.

– Не видал ли, откуда шли синие? – с беспокойством спросил опять Вольдемар.

– Отколь? Да, кажись, из *Алуксне*²³.

Вольдемар задумался. Он догадывался, что пришедшие в Менцен шведы принадлежали отряду, вышедшему из Мариенбурга вследствие путешествий цейгмейстера Вульфа; он знал также, что русский отряд должен был вскорости явиться под Менцен, чтобы не допустить крота возвратиться в свою нору, и спросил крестьянина, не слышать ли об *зеленых*? Долго ждал он ответа. Латышу и разговор был в тяжелый труд. Выручить его решила наконец его нежная половина и верная помощница.

– Чуть было намнясь, – сказала она, зевая и потягиваясь, – катали они с синими чертовы шары. С того денечка ни гугу о них, *братец*, будто мухи померли в бабье лето.

– Не заходили ль к вам еще нечаянные гости?

– В потаенность тебе сказать, – продолжала хозяйка, – толкнулись к нам позавчера...

– Старуха! а старуха! – закричал латыш. – Повесь язык на палку.

– Беда невесть какая! – продолжала супруга его, качая головой. – Чай, мы от старшины не с эстуста дрянь видали. Не потачь, *братец*, вот видишь, позавчера...

В стену застучали палкой, и раздался со двора жалобный голос:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

²¹ То есть стали похожи, под пару друг другу

²² Так называют латыши тех, кого они уважают.

²³ Алуксне – латышское название Мариенбурга.

Будто кипятком обдало сердце Вольдемара. Голос этот объяснил ему тотчас, кто был злой дух, его недавно преследовавший; в этом голосе прочел он целую старинную повесть, которую несчастный хотел бы забыть навеки.

– Ну, завыли, окаянные! – закричала старушка с неудовольствием; потом, наклонившись назад к младшему страннику, присовокупила шепотом: – Они-то и есть, мой родной! все о тебе поспрошали; видно, така луна нашла!

Не было зова новым гостям, не было и отказа; но без того и другого вошли они в избу. Это были русские раскольники. Впереди брел сутуловатый старичок; в глазах его из-под густых седых бровей просвечивала радость. За ним следовал чернец с ужимками смирения. Трое суровых мужиков, при топорах и фонаре за поясом, остановились у двери.

Старичок, кряхтя, сел на пустую скамейку, прочитал шепотом молитву, потом, обшарив сверкающими, кровавыми глазами во всех углах, остановил их с ужасом на Вольдемаре, медленно, три раза перекрестился двуперстным знаменiem и воскликнул:

– С нами крестная сила! Владимир! тебя ли очи мои видят?

– Да, князь Андрей Мышитский! – отвечал с твердостью Владимир (так будем звать его с этого времени). – Наконец-то ты нашел свою жертву.

Андрей Денисов (ибо это он был) обратился к своим спутникам. В одном из них, чернце, легко нам узнать Авраама. Старик приказал им отойти несколько от хижины, одному стать на страже, другим лечь отдохнуть, что немедленно и с подобострастием выполнили они, исключая Авраама, который возвратился прислушивать сквозь стенку. Сам хозяин, не заботясь о гостях, ушел спать на житницу.

Опираясь на посох обеими руками и на них подбородком, осененным пушистою бородой, сидел слепец. Не зная, кто говорил с его товарищем, и не понимая языка их, он в звуках их разговора, которому степени страстей давали различную силу, ловил для себя близкий смысл и верные образы. В собеседнике своего друга видел он уродливого, лукавого старичишку с рогами; постигал, что этот бес – хранитель тайны, располагавшей судьбою Владимира, и потому страх, грусть и негодование попеременно отзывались на лице святого старца, как на клавишах разнообразные звуки равно печальной песни. Товарищ его хотел казаться твердым; однако ж заметно было, что в прямой дуб ударил гром; он стоял еще прямо, но, сожженный огнем небесным, представлял только остов прежнего своего величия. Губы несчастного помертвели; два багровые пятна, подобные тем, какие видим у чахотных, выступили на его щеках; глаза его горели тусклым пламенем: все в нем сказывало, что появление нечаянного гостя убило его надежды. Прямо против него сидел ересиарх. По удовольствию, проницавшему в глазах его сквозь оболочку сожаления, видно было, что он поймал жертву, долгое время от него ускользавшую. Она в сетях его; трудно, может быть, невозможно ей вырваться из них; но лукавый показывал, что она свободна и что от нее самой зависит быть зарезанной или белым светом наслаждаться. Не о благе Владимира хлопотал он, но о том, чтобы угодить своим страстям и отчасти своей покровительнице. Между тем он показывал, что счастие других жертвует собою. Андрей Денисов не простой раскольник. Из рода князей Мышитских, наученный искусству красноречия в Киевской академии и всем приемам ухищренной политики при дворе коварной Софии, которой был он достойным любимцем, умевший поставить себя на степень патриарха поморских раскольников, он знал очень хорошо, с кем имеет дело, и потому оправлял свое лицемерие, властолюбие и вражду к роду Нарышкиных в сладкую, витиеватую речь, в чувства любви, признательности и святости. Присоедините к этой группе лицо хозяйки, на котором свет от горящей лучины озарял вполне глупость, неудовлетворенное любопытство и по временам сожаление о молодом страннике, по-видимому обижаемом.

Несколько времени с сожалением смотрел Андрей Денисов на Владимира; наконец, покачивая головой, произнес:

– Ни в уме было, ни в разуме, гадать бы, не разгадать, чтобы моего питомца, того, который был некогда золотою маковкою царевнина терема, зеницу ока ее, от кого надрывались завистию боярские дети, стольники, сам Петр, кому готовил я передать ключи выговского вертограда... чтобы его найти мне в курной латышской избе, в сонме нечестивых, на одной веревочке со слепым бродягою!..

Андрей Денисов остановился, опять с сожалением долго осматривал Владимира и продолжал:

– Помню еще, как ты, статный, гордый, красивый, бегал по теремам Софии Алексеевны. Словно теперь вижу, как ты стоял перед ней на коленях, как она своей ручкой расчесывала кудри твои. О! как вилось тогда около нее вверх твое счастье, будто молодой хмель около киевской тополи! А теперь... худ, состарился, не дожив века... в басурманской одежде, бос... Господи! легче было б мне ослепнуть до дня сего. (Тут Денисов утер слезы, показавшиеся на его глазах.)

Владимир молчал.

– Ты ничего не говоришь, сын мой?

– Пожалуй, – сказал Владимир с усмешкою, – давай перекидываться вопросами. Так, в свою очередь, скажи мне, по какому случаю в этой самой курной избе, в нищенском виде, в образе отступника своего отечества и веры, с какими-то разбойниками, встречаю князя Мышитского, украшение Киевской академии, сподвижника князей Хованских и Милославских, задушевного друга той же царевны, наконец, преподобного отца Андрея, светильника поморской церкви и главу ее?

– Отступника! с разбойниками! Вот чем платят ныне тому, который на руках своих принимал тебя в божий мир, отказался от степеней и чести, чтобы ухаживать за тобою! И я сам не хуже твоего Бориса Шереметева умел бы ездить с вершниками²⁴, не хуже его управлял бы ратным делом, как ныне правлю словом Божиим; но предпочел быть пестуном сына...

– Что еще? прибавь.

– Да, сына греха, говорю тебе, неблагодарный! Хороша за все награда!.. Вот чему обучили тебя супостаты наши!.. Оголив, изуродовав твое обличие, данное тебе по образу и подобию Иисуса Христа и спасителя нашего, они в то же время содрали с души твоей все благолепие, ее украшавшее. Оскорбляй меня, именуй меня чаще князем; ибо ты ведаешь, что мне давно ненавистны лжеименные почести мира сего, что я променял их на смиренное отшельничество и служение моему Господу и единому владыке. Пожалуй, назови меня князем ада! Называй разбойниками братьев моих, твоих братьев о Господе, за то, что они носят орудия, которые земному отцу Бога и Спаса нашего, Иосифу-древоделателю, не были в стыд. Ругайся надо мною; мечись, как василиск, на грудь, согревшую тебя от смерти телесной и душевной: я открою тебе эту грудь. Все, все тебе прощаю. Иисус Христос то ли еще терпел от своих? Что ж, ты видишь меня здесь странником, между латышскими псами и погаными немцами, но знай, неблагодарный! для тебя, собственно для тебя покинул я паству, Христом мне вверенную, этих агнцев Божиих, бежавших из России от кровожадного волка, этот народ православный, отделившийся от народа развращенного. Я, владыка и брат их, старец, глядящий в гроб, вместо того, чтобы последние дни жизни моей провести в молитве и изготавиться ко дню предстоящего нам всем Страшного суда, – я таскаюсь по чужим землям, где на каждом шагу или встречают меня соблазны, укоризны и оскорбления, или готовится мне насильственная смерть. Чего б в смиренной обители не видели очи мои в полвека, на то должен я ныне взирать беспрестанно. С басурманами, с содомитянами, новщиками²⁵ должен я нередко вести беседу,

²⁴ Вершник – всадник.

²⁵ Сodomитяне, новщики – так раскольники называли представителей официальной церкви, сторонников нововведений патриарха Никона. Содомитяне – жители библейского города Содомы, согласно легенде разрушенного богами за грехи людей, его населявших. Слово «сodomитяне» стало нарицательным для обозначения грешников, отступников

служить им, угождать... и все это для того, чтобы возвратить на путь истины заблудшуюся овцу! Все это для тебя, неблагодарный!

– Неблагодарным я и буду. Напрасны твои труды, твои подвиги и жертвы; я останусь, я хочу остаться при моем заблуждении: оно для меня сладко, составляет мое счастье, и я не променяю его ни на какие блага, которые ты мне готов посулить и можешь дать. Узнал я довольно хорошо твою истину. Она вооружила руку мою на злодеяние, привела меня под плаху, перебросила в скит твой, гнездо заблуждения и невежества, и заставила двенадцать лет шататься из края в край безродным сиротою. Кто ж, как не твоя истина довела меня до того состояния, которым меня упрекаешь?.. Не пришел ли вложить снова в руку мою нож, из нее выпавший? Теперь, думаешь, эта рука не отроческая, отвердела в несчастиях, искусилась в делах крови – не сделает промаха. На кого направляешь ее теперь? где укажешь мне жертву? Не опять ли у алтаря Бога живаго освятить ее?.. Посули опять плаху! Авось теперь не увернусь.

Андрей Денисов покачал головой, встал, посмотрел у двери, не видать ли кого; но так как лукавый Авраам, остереженный его походкою, успел завернуть за угол избы, то ересиарх, успокоившись, что никто не услышит его беседы с Владимиром, сел опять на свое место и продолжал.

– Не вмени ему, Господи, словес его в прегрешение, – сказал он, возведя очи к небу и перекрестясь: – *Суетный* не ведает, что говорит и что творит. До того еретики отуманили его разум и опутали душу его, что он забыл все святое на земле. Отщепенец православной церкви, сообщник слуг антихристовых, он и благодарность, и кровь топчет в грязи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! То, что он сделал, что обязан был сделать из любви и преданности к своей законной царице, благодетельнице, одним словом... второй матери своей, называет он злодейством?

– Да, злодейством и все-таки злодейством, для кого бы я его ни сделал. Неужели ты, князь Андрей Мышитский, или, просто, Андрей Денисов, думаешь говорить ныне с отроком и по-прежнему медоточивыми устами отравлять его неопытную душу? Вспомни, что прошло много лет с того времени, когда ты играл моими помыслами и сердцем, как мячиком, когда я слушал тебя, как безрассудное дитя. Вглядись-ка в меня хорошенько: ты говоришь с мужем, на голове моей проглядывают уж седины, я был в школе несчастия, научился узнавать людей и потому тебе просто скажу: я тебя знаю, ты обмануть меня не можешь. Оставь для других свою хитросплетенную речь. Говори просто: чего хочешь от меня?

– Спасти тебя, несмысленный, назло тебе же, спасти твое тело от казни земной, а душу от вечного мучения.

Владимир с горькою усмешкою перебил речь Денисова:

– Благое же начало ты этому спасению сделал, послав своего *старца* в стан русский под Новый Городок с подметным письмом! Чего лучше? В нем обещал предать меня, обманщика, злодея, беглеца, прямо в руки палача Томили. Я копаю русским яму; голову мою Шереметев купил бы ценою золота; сам царь дорого бы заплатил за нее! И за эту кровную услугу ты же требовал награды: не тревожить твоих домочадцев зарубежных. То ли самое писал ты тогда?

– То самое, – отвечал с наружным спокойствием Андрей Денисов.

– Что ж ты говоришь теперь?

– То же самое хотел я сказать и теперь. Но прежде, нежели я решился погубить тебя, я послал к тебе старца Афиногена, этого мученика, положившего за Христа живот свой.

– Скажи лучше: за свою бороду.

– Что предлагал он тебе?

– То, чего не исполню никогда: возвратиться в скит твой.

– Я и ныне пришел тебе то же предложить: вот путь к твоему спасению. А буде не послушаешь, я должен тебя известить; да, я должен тогда сам, своими руками, предать ослепленного, *засуетившегося*, достойной казни. Одна строка твоему же Шереметеву – и ты пропал.

– А Бог?..

Это слово, с твердым упованием выговоренное, смутило и пустосвята. Он старался освободиться от уз, в которые сковало его это великое слово, сотворив обычную свою молитву:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! – молитву, разрешающую, по мнению раскольников, все их напасти. Потом, оправившись несколько от своего смущения, он присовокупил: – Прежде, нежели вымолвлю твой приговор, спрошу тебя: кому ты служишь?

– Лукавый должен бы тебе это сказать.

– Неправда. Дух, вразумляя и старца и младенца, поборая по верным своим, сказал мне, кому ты служишь: вестимо, русскому воинству!

– Кому ж иному может служить русский? Искуши, Матерь Божия, руку того, кто поднимет ее на помощь врагам отечества! И ты, если истинный христианин, если любишь святую Русь, должен не губить меня, а помогать мне.

Глаза ересиарха приметно разгорелись; возвыся голос, он перервал речь Владимира:

– Постой, дитячко мое, не так прытко. Служа русскому войску, не Петру ли Нарышкину ты работаешь?.. И мне пособлять тебе? Мне, целовавшему крест законной царевне Софии Алексеевне; мне, взысканному ее милостями и дружбою, православному христианину, пойти в работники к погубителю царевны, к матросу, табашнику, еретику?.. Легче отсохни и моя правая рука, чтоб я не мог ею сотворить крестное знамение! Разорви лютым зелием утробу мою! Чтобы меня в смертный час, вместо страшных Христовых таин, напутствовал хохот сатаны!..

– Только теперь узнаю в тебе прежнего князя Мышитского, врага рода Нарышкиных, друга Милославских. Вот речь, которая тебе пристала! Она твоя, не заемная. Давно бы так!

– Умирая, буду ее говорить. (Андрей от гнева трясся с судорожным движением.) Из могилы подам голос, что я был враг Нарышкиным и друг Милославским не словом, а делом; что я в царстве Петра основал свое царство, враждебное ему более свейского²⁶; что эта вражда к нему и роду его не умерла со мною и с моим народом; что я засеял ее глубоко от моря Ледовитого до Хвалынского²⁷, от Сибири до Литвы, не на одно, на несколько десятков поколений. Знай и ты, радушный человек, жертвующий собою величию Петра Нарышкина! знай... (Денисов лукаво посмотрел на Владимира), что в тебе самом течет кровь Милославских.

– Милославских? – повторил Владимир, в недоумении связывая в уме своем разные догадки. – Нет, нет! ты смущаешь меня! Каким образом Кропотов в родстве с Милославским? Я этого никогда не слыхал.

– В тебе Кропотова нет ни капли крови.

– Для чего ж мне в детстве сказывали за тайну, что я сын какого-то боярина Кропотова? На что ж князь Василий Васильевич Голицын и ты сам мне об этом нередко напоминали?

– Так надо было. Открою тебе более: ты родился почти в один час с сыном Кропотова; ловкая бабка подменила его тобою; он отвезен в Выговский скит, там воспитан, и, если хочешь знать, это тот самый молодой чернец, Владимир, по прозванию Девственник.

– Этот агнец, эта непорочная душа, которая ничего не знает, никого не любит, кроме Бога? Может ли стать?.. Потом что?

– Ты слыл года два сыном Кропотова; потом мнимый отец уступил тебя князю Василию с тем, чтобы никто об этом не знал; ты рос богатырски: тебе придали с лишком два года. Человека два тайно проведали все это и под клятвою рассказали за тайну Нарышкиным; ложь пошла за истину. Сами Нарышкины, по любви к Кропотову, выдавали тебя за сироту, издалека вывезенного; а всего этого мы и домогались.

– Для чего ж вся эта кутерьма?

– Нужно было вывести тебя в люди и скрыть грех твоей матери.

²⁶ Свейское – шведское.

²⁷ Хвалынское море – имеется в виду Каспийское море.

– Моей матери! Поэтому я сын?..

– Беззакония.

– Сын беззакония?.. Как это любо!.. Порадовал ты меня! Сын преступления?.. Высокое отродие, достойное Милославских!

– Да, отроком ты уже чувствовал в себе кровь Милославских; тогда уже рука твоя искала вырвать злой корень.

– Час от часу легче! Отрок-злодей!.. Эка честь! Эка благодать! Ну, пестун мой! скажи же ты мне, как я попал к царевне?

– Царевна София Алексеевна, с малолетства подруга твоей матери, взяла тебя на свои руки, когда тебе минуло десяток лет. Как она тебя любила, ты сам знаешь. Сына нельзя более любить.

– Сына? Да! стоило царевне заботиться о таком поганом семени; лучше бы втоптать его в грязь, откуда оно вышло! И тебе пришла же охота повивать грех, ухаживать за ним, чтобы он вырос на пагубу чужую, свою, твою собственную! Ты бы...

– Я друг Милославских, преданный моей благодетельнице, моей царевне... я более... – присовокупил с притворным участием и любовью Андрей Денисов.

– Не говори, не говори мне ничего, старик! – вскричал Владимир, дрожа от исступления. – Не искушай меня!.. Или – нет, благодетель мой, утешитель, порадуй меня еще ответом на один вопрос, – только один вопрос: кто родившая меня?

– На этом свете ты этого не узнаешь.

– По крайней мере, жива ли она еще?

– Жива, и в заточении.

– Видно, так же бедствует, как и я. Несчастливая мать несчастного сына!.. Впрочем, так и быть должно: грехом порожден грех, что ж может произойти, кроме зла? Кто ж заточил ее?

– Петр Нарышкин.

– Царь Петр!.. (После минуты задумчивости.) Так он погубил ее?

– Он.

– Правду ли говоришь?

– Покарай меня всемогущий Бог и Его небесные силы, коли я говорю тебе ложь!

– От сего часа бросаю все. Иду, следую за тобою. Скажи, что мне надобно делать! Клянусь, что пойду за тобою, как ребенок за кормилицею своею, как струя за потоком. – Нет, нет! я не клянусь; я не клялся еще... Ты сказал мне, что я на этом свете не узнаю имени матери и никогда ее не увижу.

– Никогда.

– Как блещут маковицы церковей твоей родины! – произнес слепец по-шведски вдохновенным голосом. – В храме пылают тысячи огней; двери растворяются, и пастырь выходит с крестом навстречу молодому страннику.

Владимир затрепетал.

– Что говорит этот сумасшедший? – спросил ересиарх, боявшийся, чтобы жертва, которую он загнал в свои сети, не вырвалась из них: ибо он догадывался, что слепец в чем-то остерегал Владимира.

– Что он говорит?.. – отвечал гордо и с чувством Владимир. – Тебе этого не понять, черствый старик! Я не иду за тобою, искушитель; я не слушаю тебя. Что мне в матери, которая отрекается от сына, не хочет знать его, не хочет его видеть? Волчица не покидает детей своих, а моя?.. Нет у меня матери ныне, как и вчера; забытый родом и племенем, я сам забуду их. И что мне помнить, что мне любить?.. Разве слова матери, отца – звуки языка непонятного, тени невиданных вещей? Отступись от меня; оставь меня моей судьбе, отец Андрей! Сжалься надо мною: не загораживай мне пути к моему счастью; не отнимай у меня того, чего ты мне не дал, чего не можешь дать – что уже мое! Прошу тебя, умоляю тебя пречистою Божьею Матерью,

Христом, распятым на кресте, – скажи мне, как просить тебя, – ты знаешь, я ни перед кем в жизнь мою не падал в ноги – пожалуй, я упаду перед тобою!..

– Я не допущу до того сына... ее. Чем могу тебе помочь?

– Не препятствуй мне быть на родине.

– На родине? тебе?.. Тебе не видать родины!

– Не видать!.. Кто это сказал?.. – вскричал Владимир голосом, от которого задрожали стены, и вскочил со скамейки, будто готовился вступить в бой с враждующими ему силами. – Кто это говорит: не видать? А?.. Господь Бог мой! стань за меня и посрами моих врагов.

– Не призывай имени Господа твоего всуе, не беснуйся и прочти лучше вот эту грамотку: ты увидишь из ней, что я должен с тобою сделать.

Андрей Денисов вынул из пазухи кожаную сумочку и из нее сложенную бумагу, которую подал Владимиру. Дрожащими руками последний схватил листок и, взглянув на подпись его, произнес с восторгом и горестию:

– Рука царевны Софии Алексеевны!

– Да, – примолвил, вздохнув, лукавый старик, – бывшей царевны, ныне инокини Сусанны!²⁸

Глаза Владимира остановились на подписи. Равнодушный к имени Софии в устах коварного старца, он теперь приложился устами к этому имени, начертанному ее собственной рукой. Как часто эта рука ласкала его!.. Тысячи сладких воспоминаний втеснились в его душу; долго, очень долго вилась цветочная цепь их, пока наконец не оборвалась на памяти ужасного злодеяния... Здесь он, как бы опомнившись, повел ладонью по горевшему лбу и произнес с ужасом:

– Чего она хочет от меня?

– Твоего спасения, непокорное, но все еще дорогое ей дитя! – отвечал ересиарх. – И меня избрала она твоим спасителем. Увидишь сам из грамотки.

Листок бумаги, который держал Владимир, был следующего содержания:

«Всемоущего Бога избраннейшему иерею и таин его верному служителю, благочестивому господину, господину киновиярху²⁹ Выговской пустыни, пречестному и возлюбленному отцу Андрею кланяюсь: временно и вечно ему радоваться и долгоденственно светить миру с верными всякого возраста и звания, не токмо в Помории, но и во всей России пребывающими.

А про нас изволите о Христе любовно ведать, и мы, дал бог, в добром здравии в обители пребываем.

Писание ваше чрез старца Митрофана, Большой нос, получили верно. И мы, прочитав то ваше писание, немало слез пролили. О, коль печаль внезапная и скорбь великая, что мой возлюбленный, мой Яков, появился в Лифляндах, связался с злодеями и, подслуживаясь им, ищет пути в отечество! В какой глубины преисполненный невод рыба сия мечется! Мой злобствующий брат и враг может ли ведать прощение? Сердце его поворотится ли на милость к тому, кого я любила и все еще люблю так много?.. Скорее обратится солнце вспять. Казнь, от коей я его спасла, ожидает его неминуемо. О! кабы я могла сказать Владимиру изустно, что для него нету родины, как для меня нету венца и царства! Злодей нас всего лишил. Во что ни стало, молим тебя, преподобный отец и друг наш, отыщи его, изжени³⁰ из него всяк лукавый и нечистый дух, явный и гнездящийся в сердце; поведай ему, что для него нет

²⁸ После подавления последнего стрелецкого бунта (1698) царевна Софья, удаленная в Новодевичий монастырь, была там пострижена под именем Сусанны.

²⁹ Киновиярх – монах так называемого общежительного монастыря.

³⁰ Изжени – изгнать (старослав.).

родины; убеди его идти в Выговскую пустынь, сие спасительное и крепкое пристанище, где ожидают его блага земные и небесные, где он может, по смерти равноапостольного жития и чина пастыря, пасти на евангельских и отческих пажитях избраннейшее Христово стадо. От имени моего накажи ему сие по любви и по власти; а буде он явится противен, проклятие мое над его главою. Сами вы тогда суд примите и сотворите с ним, что рассудишь, не жалея... (Здесь несколько строк было зачерчено.)

Ежели бы сердечного сокровища ключи, кроме Бога, в человеческих руках обретались, тогда бы тебе, о священная глава, и братии твоей, и совокупно всем верным, в отверстых для вас персях моих возможно было прочесть, какую к вам любовь денно и нощно питаю. Во свидетельство же сей любви... (здесь опять несколько слов было помарано) понеже благочестие церковное любит благолепие.

За сим будете вы покровенни десницею Вышняго Бога от всякого искушения вражия до конца жития своего. Спасайтесь все о Христе в любви; бодрствуйте, укрепляйтесь, подвизайтесь, и тако тецйте, да постигнете. Сие оканчивая, пребываю грешная о вас молитвенница, недостойная сестра *Сусанна*».

Долго, в утробном молчании, держал Владимир прочитанное им *письмо* Софии Алексеевны. То представлялись ему счастливые дни его отрочества и материнская любовь Софии; то чудилось ему его преступление; то волновало его душу сожаление о слепце или манила к себе родина, к которой, ему казалось, он был так близок. Если б говорила в письме одна любовь, то он, может быть, склонился бы на убеждение ее. Но он читал в нем угрозы, проклятия – и для нетерпеливой, гордой души его, необычной носить ярмо, довольно было этого, чтобы ее раздражить.

– Что ж ты намерен делать? – спросил Денисов. – Решайся: или теперь же за мною, или ступай с проклятиями своей второй матери под плаху палача.

– Я давно решил, – отвечал с твердостью Владимир. – Прежде чем проклятия царевны гремели надо мною, я поклялся умереть на родной земле. Пиши об этом инокине Сусанне. Скажи ей, что милости Софии Алексеевны к сироте для меня незабвенны и дороги; что я лобызаю ее руки, обливаю их горячими слезами; что я ей предан по гроб, но... ее не слушаюсь! Твои ж угрозы меня не утешат. Ты должен бы знать меня лучше. Я сам явлюсь в стан русский, явлюсь к Шереметеву, и тогда увидишь, кому Бог поможет. Он станет за меня, Бог сильный!

– Так ни прошение, ни убеждения ничего не могли над тобою, непреклонная душа?

– Ничего.

– Знай же, я могу тебе приказать.

Владимир с презрительною усмешкою посмотрел на Денисова и произнес:

– Ты?... когда не могла ничего просьба самой царевны!.. ты, дрянной старичишка?..

Эта усмешка, эти слова взорвали все брненное существо властолюбивого старика; досада завожилась в груди его, как раздраженная змея; скулы его подергивало, редкая борода его ходила из стороны в сторону, злоба захватывала ему дыхание. Он весь разразился в ответе:

– Так... Знай, бездельник!.. я... твой отец.

– Отец, отец! – вскрикнул Владимир голосом, от которого приподняло Конрада; вскочил со скамьи и дико озирался, хватая себя за горящую голову. – Скажи еще что-нибудь, старик, и я задушу тебя!

Последовало несколько минут молчания. Владимир долго смотрел с ужасом и робостию на Денисова взором, который, казалось, обворожил его своею неподвижностью, и наконец дрожащими губами вполголоса выговорил:

– Нет... не может быть!.. ты не отец мне. – Потом, в судорожном движении схватив Конрада за руку, прибавил тихо: – Не выдержу! пойдем отсюда, Конрад!.. я продрог до костей...

Еще с ужасом и робостью посмотрел он на Денисова и, беспрестанно озираясь, вывел слепца из хижины.

Проклятия бесновавшегося Денисова долго гремели вслед Владимиру.

– Не пощажу, не пощажу крови ее! – кричал он.

На крик этот прибежали его служители. Составлено наскоро совещание и постановлено: догнать слепца и его товарища, разлучить их силою и, связав, увезти последнего с собою; но адский совет был расстроен послышавшимися издали двумя голосами, разговаривавшими по-русски. Они довольно внятно раздавались по заре, уже занимавшейся. Раскольники стали прислушиваться к ним, завернув за избу.

– Эй, брат Удалой! – говорил голос. – Послушай меня: брось добычу. Право слово, этот рыжий мальчишка был сам сатана. Видел ли, как он всю ночь щерил на нас зубы? то забежит в одну сторону, то в другую. Подшутил лихо над нами! Легко ли? Потеряли из-под носу авангардию и наверняка попадем не на *Черную*, а на чертову мызу.

– Добытое кровью не отдам, хоть бы сам леший вступился за него! – послышался другой голос. – Отложу долю на местную свечу Спасу милостивому, другую раздам нищей братии, а остальными и Бог велит владеть. Да вот и жилье: смотри в оба, трус!

– Вижу-ста избушку на курьих ножках. Избушка, избушка, встань к нам передом, а к лесу задом! Чур, да не Баба ли яга, костяная нога, ворочается там на помеле? А что-то возится, с нами крестная сила!

Авраам схватил осторожно Денисова за рукав кафтана и сказал ему вполголоса:

– Отойдем от зла, отце Андрей, и сотворим благо.

Ересиарх успел разглядеть, что приближавшиеся к избе были два солдата русские и что один из них прихрамывал, а у другого перевязана была голова. Не говоря ни слова, он пошел им навстречу.

– Кажись, не латыши и не шведы, – говорили между собою солдаты, – однако ж на всякий час настроим свои балалайки.

Тут солдаты остановились, изготовили свои мушкеты к бою, тронулись, опять тихим шагом, и, поравнявшись с раскольниками, оба разом крикнули молодецки:

– Что за люди?

– Пустынножители! – отвечал Денисов. – Мир вам от Бога, православные!

– Ай, да это наши, русские! – вскричал один солдат. – Шли на волков, а попали на баранов. Да вот и чернец. Благослови, отче!

Солдат подошел под благословение Авраама; товарищ последовал его примеру. Авраам с важностию благословил их.

– Куда же вы путь держите, добрые люди? – спросил Денисов.

– А вот изволишь видеть, – отвечал один из солдат, – в славной баталии под Гуммелем, где любимый шведский генерал Шлиппенбах унес от нас только свои косточки, – вы, чай, слышали об этой баталии? – вот в ней-то получили мы с товарищем по доброй орешине, я в голову, он в ногу, и выбыли из строя. Теперь пробираемся на родимую сторонку заживить раны боевые.

– Ведомо ли вам, – сказал ересиарх, – что за несколько поприщ отсель, на Черной мызе, стоит отряд шведский?

– На нее-то мы и маршируем, прямо-таки на шведский караул; да, хвастать нечего, идем-то не одни, за отрядом князя Василия Алексеевича Вадбольского.

– Кой лукавый завел вас сюда! Ведь вы с дороги сбились.

– Вот те на! Удалой, говорил я тебе, что рыжий сыграет штуку...

– Коли хотите, – продолжал ересиарх, – я укажу вам путь на мызу, только попрошу за труды.

– Ну, распоясывайся, камрад!

– Господи упаси, за услугу своим братьям православным брать деньги! Нет, не об этом хочу вас просить.

– А что же надо тебе, ваше благородие?

– Экий болван! – прервал своего товарища солдат, дергая его за мундир. – Говори, подобный отчет!

– Вот видите, добрые люди, и я был некогда князь.

Солдаты сняли с почтением шляпы и стали во фрунт.

– Надевайте-ка своих жаворонков на голову и выслушайте меня. Мне есть до фельдмаршала Бориса Петровича слово и дело; царю оно очень угодно будет; узнает о нем, так сердце его взиграет, аки солнышко на светлое Христово воскресенье.

– Говори, боярин, что за дело, – сказал один из солдат.

– Ради царю нашему батюшке службу сослужить, – прибавил другой.

Здесь Денисов отвел солдат в сторону и сказал им вполголоса:

– В Лифляндах бегают один стрелец, злодей, какого мир не родил другого; подкуплен он сестрою царя, Софиею Алексеевною, избыть, во что ни стало, его царское величество. Петра Алексеевича богатырское сердце не утерпит не побывать у своей верной армии. Тут-то бездельник уловит час добраться до всепресветлейшего нашего, державнейшего государя. Я послан царскою Думою с наказом, как можно, дать знать о злодейском умысле фельдмаршалу; но боюсь с ним разойтись. К тому ж силы меня покидают: долго ли смертному часу застигнуть на дороге? и тогда немудрено, что всекраснейшее, всероссийское солнце скроется от очей наших и покинет государство в сиротстве и скорбях. Коли вы верные слуги царские и хотите получить награду, то доставьте грамотку в собственные руки Бориса Петровича. Может статься, и я встречу его; все-таки и тогда ваше усердие не пропадет.

– Беремся за это дело, – закричали оба солдата.

– Награди их Господи Своими милостями! – сказал Денисов, возведя очи к небу.

С ним была чернильница и все принадлежности для письма. Из хижины вынесена доска и поставлена на два пня: она служила письменным столом. Послание было наскоро изготовлено, отдано одному из солдат, который казался более надежным, и привязано ему на крест. Служивые выпровожены с благословением на дорогу к Менцену, дав клятву исполнить сделанное им поручение. С другой стороны, начальник раскольников, довольный своими замыслами, отправился с братьею, куда счел надежнее.

Хозяева хижины проснулись, когда и следы гостей их простыли. Пальба к стороне Менцена дала им знать, что синие с зелеными опять катают чертовы шары.

Глава шестая

Кажется, многое объясняется

Ужель загадку разрешили?

Ужели слово найдено?

Пушкин

На мызе Блуменростовой, по-видимому, не было никакой перемены с того времени, как мы ее оставили.

Так же, как и в начале повести нашей, сидела в задумчивости на балконе пригожая швейцарка; одинаково расположились в саду, на скамье, слепец, товарищ его и швейцарец; а Немой, раскинувшись на траве, слушал их с большим вниманием и по временам утирал слезы. Будто и речь вели собеседники все ту же, что и тогда. Зато окрестности мызы во многом изменились. На огромном кресте, который господствовал над *Долиной мертвецов* и загораживал собою полнеба, сиял медный складень. Вероятно, набожные русские повесили эту святыню, чтобы охранить им от наветов нечистого могилу товарища. К стороне Менцена курился дымный столб над развалинами этой мызы, и белелся стан русский. По окольной дороге, прежде столь уединенной, вместо баронской кареты, едва двигавшейся из Мариенбурга по пескам и заключавшей в себе прекрасную девушку и старика, лютеранского пастора, вместо высокого шведского рыцаря, на тощей, высокой лошади ехавшего подле экипажа, как тень его, пробирались к Мариенбургу то азиатские всадники на летучих конях своих, то увалистая артиллерия, то пехота русская. По временам слышна была песня:

Из славного из города из Пскова
Подымался царев большой боярин,
...Борис сударь Петрович Шереметев.
Он со конницею и со драгуны,
Со пехотными солдатскими полками,
Не дошедши *Красной мызы*, становился...

Еще надо прибавить, что у ворот мызы, в раме за проволочной решеткой, прибит был охранный лист уже не с подписью генерал-вахтмейстера Шлиппенбаха, но с подписью фельд-маршала Шереметева. Все эти обстоятельства показывали, чья сторона взяла верх: так победитель все оборачивает на свою сторону и влечет за собою. Едва я не забыл сказать, что в окошко нижнего этажа мелькали два новые лица. Одно из них был шведский офицер, молодой, привлекательной наружности, но такой бледный, что походил более на восковое изображение, нежели на живое существо. Казалось, он смотрел, ничего не видя, слушал, не внимая. Изредка глаза его оживлялись; он вздыхал и улыбался, как умирающий продолжительною болезнью, когда ему говорят, что он скоро выздоровеет. Эти признаки жизни возбуждали в нем магические слова, произносимые человеком, сидевшим против него. У этого человека сквозь сладость серо-голубых глаз и речей проницало лукавство беса – не того, который с шумом вооружался, как титан³¹, против своего творца, но того, который вкрадчиво соблазнил первую женщину. Один был Густав Траутфеттер, потерявший все, чем красятся дни человека, – свободу и надежду, – все, кроме любви, не покидавшей его назло обстоятельствам. Утешитель был Никласзон, с осторожностью врача рассказывавший то, что знал о чувствах к нему Луизы. По временам продажный секретарь баронессы Зегевольд и подкупленный агент Паткулев с изум-

³¹ Титаны – название гигантов, вступивших в борьбу с богом Зевсом (греч. миф.).

лением посматривал сквозь стекло окошка на Владимира, этого мнимого шпиона генерал-вахтмейстера. Мирно с ним сойтись под кровом, равно для них гостеприимным, казалось ему чем-то чудесным. Один человек мог только объяснить эту странность, и его-то поджидал он с нетерпением.

Переменявшаяся по дороге из Менцена пыль, которую установили было на ней шедшие мимо русские полки, снова поднялась, и сердце Розы сказала глазам ее, что едет тот, кому предалось оно с простодушием, свойственным пастушке альпийской, и страстию, редкою в ее лета. Как она любила *его*! Для него швейцарка могла забыть свои горы, отца и долг свой.

Роза была уже у ворот мызы, потому что к воротам подъехал господин Фишерлинг (имя, которое давал себе Паткуль в Швейцарии, во время своего бегства, и удерживал на мызе друга своего Блументроста, где укрывался от преследований власти и своих врагов и откуда действовал против них со своими друзьями и лазутчиками). Бледнея, вспыхивая и дрожа, швейцарка схватила за узду бойкого коня приезжего. Животное без сопротивления ей отдалось.

– Здорова ли ты, милая Роза? – спросил Паткуль, с нежностью остановив на ней взоры.

– Теперь здорова! – отвечала она и спешила проводить лошадь, чтобы скрыть радость свою от пронизательных глаз Фрица, следовавшего за своим господином.

Никласзон, чутьем узнавший о приезде своего высокого доверителя и бежавший сломя голову, чтобы его встретить, вдруг остановился; но, видя опять, что он не помеха, сделал несколько шагов вперед, превратился весь душою и телом в поклон и спешил поздравить его превосходительство с благополучным прибытием в свою резиденцию после таких трудов и одержания столь знаменитой победы над Карлом XII. Генерал-кригскомиссар, со своей стороны, поздравил его тем, что велел составить счет, сколько затрачено им собственных денег из усердия к пользе общего дела, назначил ему богатую награду, обеспечивавшую его на всю жизнь; но советовал ему скорее удалиться в Саксонию, куда обещал дать ему рекомендательные письма.

– Такие люди, как ты, – сказал Паткуль, положив ему руку на плечо, – нужны мне при тамошнем дворе. Там можешь продолжать служить мне и России. Здесь, в армии, пост мой кончился, и с этим изменяется твоя должность. Доволен ли ты?

Никласзон кланялся и показывал, что от радости не в состоянии говорить. Действительно, распоряжение его патрона не могло быть для него лучше, ибо избавляло его от виселицы и давало ему способы начать жизнь *честного*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.